

Давид Маркиш



МАХАТМА

Вольные фантазии из жизни
самого неизвестного человека

16+

Давид Маркиш

**Махатма. Вольные
фантазии из жизни самого
неизвестного человека**

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Маркиш Д.

Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека / Д. Маркиш — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Это первый роман о великом учёном Владимире Хавкине, первооткрывателе вакцин против холеры и чумы, написанный известным писателем Давидом Маркишем, лауреатом множества литературных премий. Владимир Хавкин с юных лет хотел изменить мир и начал с активного участия в подпольной террористической организации в Одессе, но вскоре покинул родину, чтобы оказаться в Институте Пастера. Там, открыв вакцину от холеры, он совершил важнейшее открытие в своей жизни и был назначен Государственным бактериологом Британской короны в Индии. Он жертвовал собой и так и не обрел личного счастья, но спас миллионы жизней своей чудодейственной «лимфой Хавкина». В конце пути он нашел умиротворение в Высшей силе, которую в нашем мире принято называть — Бог.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
I. ОДЕССА	9
II. ЛОЗАННА. ПАРИЖ	10
III. АЗИАТСКАЯ СМЕРТЬ	23
Конец ознакомительного фрагмента.	32
	35

Дорогой читатель,

Перед вами книга, которая является частью масштабного проекта по популяризации имени Владимира Хавкина по всему миру.

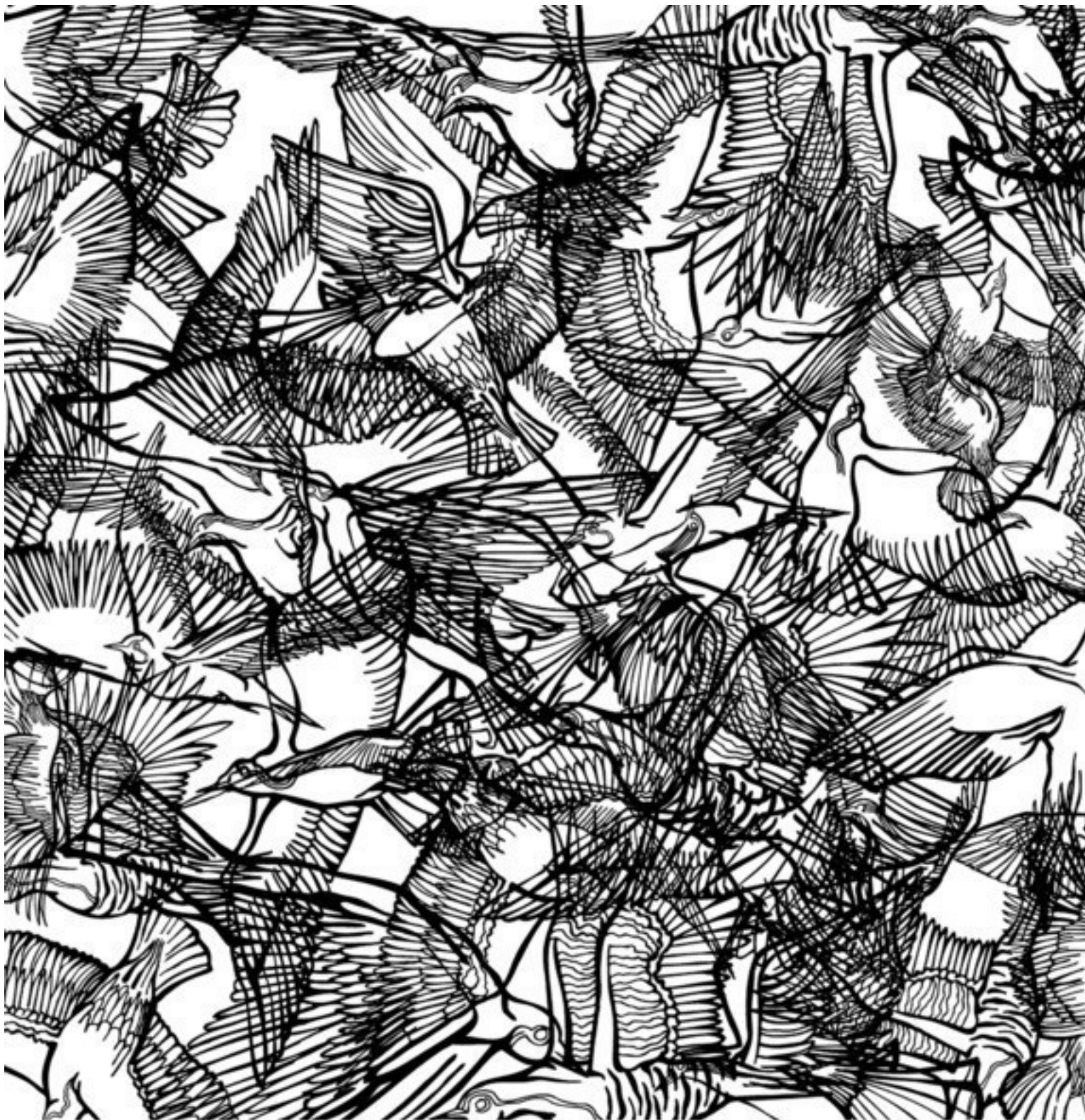
За этим стоит удивительная история моей семьи. История, которая долгие годы была мне неизвестна. Я собрал ее практически по крупицам.

Желаю вам приятного чтения и очень надеюсь, что эта книга оставит след в вашем сердце.

Александр Дуэль, издатель и потомок старшего брата доктора Хавкина

Чума не очень страшна, мы имеем уже прививки, оказавшиеся действительными и которыми, мы, кстати сказать, обязаны русскому доктору Хавкину, жиду. В России это самый неизвестный человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом.

А. Чехов (из письма к А. Суворину)



ПРОЛОГ

В разных местах земли птицы поют по-разному – то ли оттого, что места другие, то ли оттого, что птицы другие. Курский соловей щёлкает, московский воробей чирикает, финский филин гукает, кавказский орёл клекочет, а иерусалимский удог постанывает. Весь этот веер звуков составляет, как ни странно, песню – не вопль о помощи и не предсмертный вой, а

именно песню, посредством которой певун передаёт и оглашает свои чувства. В точности так ведут себя и люди; они, как видно, выучились этому у птиц, которые старше нас с вами.

На рассвете объединённая птичья песня висит над Бомбеем как полог – как будто само небо, его обращённая к земле жёлто-розовая подложка, тесно набита птицами: поющее бомбейское небо! А если, слушая, запрокинуть голову и взглядеться – нет там никого: ни попугаев, ни павлинов, ни сизых голубей с морскими воронами, ни золотых цапель с чёрными коршунами. Никого нет. То ли они ещё не поднялись со своих ночных мест и только прочищают горлышко, то ли сидят в кронах деревьев, укрытые листвой, и перекликаются, радуясь тому, что дожили до этого дня. Всё может быть... Особенно жаль, что нет павлинов; а ведь где же им ещё быть, как не в Индии?

Бомбей с головой погружён в зелень – во всяком случае, колониальный старинный Бомбей португало-британской застройки, когда высотным сооружением считалась пожарная каланча для дальнего дымового обзора. Улицы, до краёв залитые публикой, словно прорублены в джунглях. Для полноты картины то здесь, то там появляются пыльные, размером с ведро, какие-то мусорные обезьяны с бесстрашными и дерзкими глазами; они ведут себя совершенно независимо, а то и нагло. Да и публика весьма своеобразна; в своих одеждах, свёрнутых из разноцветных полос и жгутов, она похожа на массовку из голливудского фильма об Индии... О, а вот и корова! Она флегматично шествует, публика уступает ей дорогу. Это, собственно говоря, и не корова, а зебу с горбом на спине. Кто её знает, куда она направляется! Жаль, что это горбатая корова, а не красавец-павлин с драгоценной короной на точёной головке. Но, как говорится, на нет и суда нет, и эстетические чувства индийцев следует уважать: корова нравится им больше, чем павлин. Окажись сейчас вон та старушка, закутанная в лёгкий розовый мешок, на парижских Елисейских полях или на Красной площади в Москве, где в каменном зиккурате отнюдь не зебу залёт, – старушка эта, пожалуй, не сдержала бы возгласа удивления: никаких тебе коров, а прохожие, вырядившиеся нелепо, вертят головами по сторонам, как будто их подстерегает охотник с ружьём или метким луком. Нет сомнений в том, что зебу ей куда ближе и родней, чем покойный Ульянов в хрустальном сундуке.

Равно как и в том, что век назад эта зеленейшая бомбейская улица не сильно отличалась от нынешней – ну разве что не толклись здесь, как мошकारа, какие-то жёлтые моторикши, выполняющие роль таксомоторов. А зебу был посреди дороги, и старушка в розовом мешке – была... Незаметно переходя из поколения в поколение, индийцы словно бы и не перестают жить, а продолжают своё задумчивое существование, и, перетекая из одного замкнутого кольца в другое, следуют бесконечной линии священной Восьмёрки.

Итак, старушка, решившая немного отдохнуть, опустившаяся на корточки и прислонившая спину к ограде особняка – была. Как был и старинный особняк за богатой оградой, в глубине парка. Даже и не особняк, а, скорее, дворец позапрошлой, наверно, эпохи, в котором проживал во время оно португальский губернатор до того самого дня, когда и дворец с парком, и окружавший резиденцию город Бомбей был получен вместе со всем прочим приданным принцессы Катерины де Браганса её британским женихом – королём Карлом Вторым. И это очень даже укрепило сердечную дружбу между двумя дворами и народами и поспособствовало британскому освоению Индии; карта мира обрела новые очертания. Но тот, кто предположит, что в основу всего этого куртуазного карнавала легла любовь между Екатериной и Карлом, попадёт впросак: любовь тут была не к месту, как корове седло. Есть вещи поважней, чем любовь – политические страсти, например, жёстко заключённые в скорлупу династических браков... И вот у ворот дворца, в караульной будке, стоит по старой памяти часовой. По старой или по новой – но вот он тут, с ружьём и в военной шапке. Раньше он караулил португальцев, потом англичан, и нынче продолжает свою службу: кого надо, того и караулит. Розовую бабушку его дежурство у забора ничуть не удивляет – точно так же, как и явление зебу посреди дороги. Так было четыреста лет назад, то же самое и сейчас. Да и завтра, если что-то вообще будет – так то

же самое: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Мудрый старый еврей Экклезиаст был прав, а мы до сих пор не можем уразуметь, как это он вдруг взял и обо всём догадался. Связь времён, вот что это такое! Прозрачная, как янтарь с древней мухой в сердце! Появись Экклезиаст сегодня утром и скажи всё, что он сказал три тысячи лет назад, – никто бы ему не поверил.

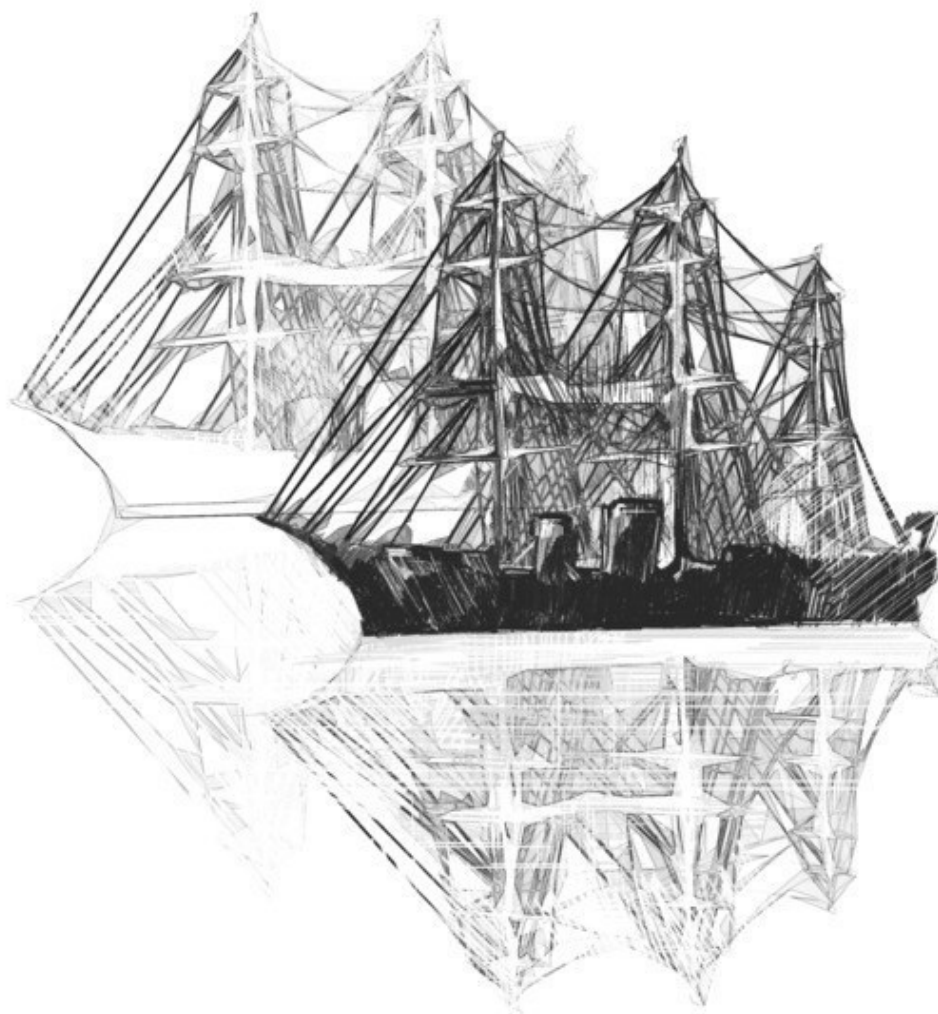
В зелёной тени улицы к двустворчатым воротам дворца подкатывает и останавливается школьная экскурсия – человек тридцать, под командой учителя. Учитель переговаривается о чём-то с караульным солдатом, школьники послушно ждут, и вот распахиваются узорчатые чугунные створки, пропуская экскурсантов. Школьники тянутся строем к торжественному подъезду и исчезают в его тёмном зеве, как поезд в туннеле.

А створки дворцовых ворот ползут навстречу друг другу и смыкаются. Над ними, в овальном навершии, ознакомительная надпись, собранная из железных кованых букв: «Институт имени Хавкина».

Розовая бабушка, без интереса проследив за культурным событием, переводит взгляд глаз, до краёв наполненных видением, с караульного солдата на зазевавшегося по какой-то причине зебу.

Пустой парк перед дворцом снова тих и безлюден, шум улицы разбивается об ограду парка, как волны морского прибоя о каменный берег земли.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I. ОДЕССА

Для Веры Фигнер, по прозвищу «Вера-револьвер», Одесса была не чужим городом; она приезжала сюда с радостью, а уезжала с грустью. Во всей империи никакой другой город – ни державный Санкт-Петербург, ни толстомясая Москва или босяцкий Ростов – не мог сравниться с Одессой по совершенной подготовленности к террористической революционной работе. Тому были причины, и веские, и все они своими тёплыми ладонями грели душу красивой Веры.

Дело тут было не в море и не в приятной солнечной погоде. Национальная пестрота создавала среду лёгкую и подвижную, идеальную для политического подрыва. Нигде во всей империи не жили в такой привычной тесноте дворов и домов все подряд: украинцы и русские, евреи и греки, армяне и турки. И все они сохраняли приверженность семейному укладу и родовым привычкам, зачастую довольно-таки странным и вызывающим непонимание соседей. Привыкнув к особенностям своего коммунального города и не обнаруживая в жизни предмета захватывающей любви, они перенесли свои чувства на Одессу и преданно её любили. . . Вера-револьвер оспаривала своё многозначительное прозвище у другой бандитки – унылой Веры Засулич, отличаясь от неё не только отменной красотой, но и острым умом преступницы, с большим удовлетворением отмечавшей национальные особенности одесского бытия.

Евреи, составлявшие чуть ли ни треть населения города, притягивали её пристальный интерес, как магнит притягивает металлические опилки. Вера не делала разницы между «эллином и иудеем», антисемитизм был ей неинтересен; она искала в людях лишь годность и готовность к осуществлению её революционных планов, прежде всего нового освежающего царубийства – этого грозного акта справедливости и апогея индивидуального террора. И именно евреи, с их бесконечными и вполне безуспешными поисками справедливости, являлись благотворным материалом для опасной работы красивой Веры. За двадцать лет, прошедших после отмены рабства и выхода людей из крепостного хлева на свет божий, многое изменилось в империи: расцвели, как картошки в огороде, нелегальные революционные сообщества, и художочные потомки библейских пророков к ним прибились и были приняты с воодушевлением. Это и неудивительно – а куда же им ещё было податься? Страсть к установлению мировой справедливости владела этими радикальными евреями, русский монархический строй не удовлетворял их запросам, и в борьбе за всеохватную свободу они готовы были сложить голову. Национальное происхождение и родовые корни налагали отпечаток на мировоззрение евреев, и, таким образом, целый народец можно было, при разумном подходе, вовлечь в революционную работу. Так рассуждала умная Вера, и она была недалеко от истины.

Это, и ещё будущее устройство России, покамест размытое, но непременно воспоследующее за убийством нового царя, пришедшего на смену взорванному, будоражило воображение Веры Фигнер, разглядывавшей кривую улочку близ Итальянского бульвара через гостиничное окно. На полу номера, за спиной постоялицы, горбился наполовину распакованный кофр: одежда была разложена на высокой кровати, хрустальные грани флакончиков туалетных принадлежностей поблескивали на тумбочке у изголовья. Нетрудно было предположить в красивой жиличке опытную путешественницу, привыкшую с лёгкостью и своего рода азартом менять гостиницы и постоялые дворы и привольно, как говорится, с порога, там обустриваться. Ещё легче было бы утвердиться в этом предположении, зная доподлинно имя заезжей дамы – но это было неосуществимо: в гостинице «Лев и Орёл» Вера Фигнер, из конспиративных соображений, зарегистрировалась под чужим именем и по подложным документам. Целая стопка таких документов, все на разные имена, хранилась в заколотом для надёжности английской булавкой боковом карманчике Вериного ридикюля, изготовленного из гранатового бар-

хата и украшенного по лицевой стороне весёлой французской вышивкой: пастушки с пастушками на зелёной лужайке, под деревом.

Рассмотрев улочку и убедившись в том, что филёров нигде не видать, Вера вернулась к своему кофру. До инспекционной встречи с активистами местного революционного подполья оставалось ещё около двух часов.

Этих проверенных активистов набилась на конспиративной квартире целая дюжина – молодые люди, по преимуществу студенты местного Университета, хотя и не все: пробуждающийся рабочий класс был представлен кудрявым мастеровым в косоворотке, а буржуазия совсем ещё юной дочкой богатого провизора и владельца нескольких одесских аптек Хаима Рубинера, по имени Ася. Вообще-то девушку при рождении записали Хасей, но в разноплеменной революционной среде «Ася» звучало проще и понятней. Ну, Ася так Ася: человек сам хозяин своего имени, тем более в подполье...

В ожидании знаменитой охотницы на царей молодёжь вела довольно-таки опасные разговоры о будущем России и о почётном месте в этом светлом здании террористической организации «Народная воля», к которой активисты себя причисляли. Дискуссия носила вполне уравновешенный характер, как будто подпольщики не бомбы собирались метать в своих притеснителей, а пасхальные куличи. Вера Николаевна Фигнер, которую здесь ждали, была горячей народоволкой, но прежде, ещё до убийства Александра Второго, её родным гнездом была обращённая к крестьянству «Земля и воля». Кудрявый мастеровой считал себя в большей степени землевольцем, чем народовольцем: он появился на свет в семье крепостных, ему было видней, что нужно народу, чем Асе Рубинер, похожей на античную камею. Свою позицию мастеровой считал устойчивой и готов был за неё постоять, хотя «хождение в народ» пропагандистов «Земли и воли» справедливо считал занятием пустым и небезопасным: деревенский народ партийных краснобаев не поймёт и по запарке даже может надавать им по шеем.

Начитанные молодые люди обоих полов, в ожидании Веры, рассуждали о несомненном преимуществе радикальных действий народвольтцев по сравнению с социалистическим блеянием адептов «Земли и воли». Одесские активисты были настроены решительно; они желали, не откладывая, учинить покушение на какого-нибудь царского сатрапа и тем самым развернуть мир к лучшему и приблизить наступление эпохи справедливости. Эта счастливая эпоха откроется сразу вслед за тем, как рассеется дым от взорвавшейся бомбы, брошенной твёрдой рукой метателя... Молодёжь свято верит в немедленную смену декораций, поэтому она так замечательно подходит для революционного террора. Старики не верят ничему, начиная со смены декораций. А высокие профессионалы, такие как Вера Николаевна Фигнер, верят лишь в то, что сами организуют и выполняют, и, откровенно говоря, не заглядывают дальше висельной перекладины.

Семнадцатилетняя Ася Рубинер, похожая на камею, не принимала участия в споре. От разогретой спором кампании она держалась в сторонке, как молодая ель на опушке волчьего леса. Внимательный наблюдатель определил бы без особого труда, что рассуждения революционеров о важности и пользе индивидуального террора пролетают мимо её хрупких, фарфоровой лепки ушей, как ветер мимо фонарного столба. Всё её девственное внимание было обращено на крупного, почти громоздкого, с широким разворотом плеч студента-естественника Володю Хавкина. Она и на эти тайные сходки повадилась ходить, чтобы быть поближе к предмету своего поклонения. Мало того: она и папу, вполне прогрессивного аптекаря Хаима Рубинера, готова была заставить сюда прийти и записаться в народвольтцы – хотя бы для того, чтобы сделать приятное Володе... Можно не сомневаться: это была любовь! Самая первая! Зелёно-золотая!

Любовь поражает человека и в мирные дни, и в войну, и во всякое время года. Поражению подвержен стар и млад, хотя на молодых да нервных, скользящих по первопутку, выпадает основная масса любовных явлений. Поражённый любовью мается, не находит себе места

и, охваченный тёмным восторгом, готов лезть на стену, хотя на ней нет ни ступеней, ни зацепок. Уместно сравнить приступ любви с приступом безумия, но это выматывающее безумие прекрасно, и публика относится к нему с сочувствием и пониманием: любовь зла, полюбишь и козла! И непереносимое несоответствие характеров между составляющими любовную пару углубляет сахарную суматоху чувств; захватывающий морок любви даже приводит иногда к сведению счётов с жизнью. Такое в ходу от начала времён и до наших дней, включая сюда живописную эпоху Возрождения и чугунные коридоры большевизма. Тут уж ничего не поделаешь: сердцу не прикажешь...

Нельзя сказать, что свободомыслящий студент Володя Хавкин, урождённый Маркус-Вольф, пятью годами старше влюблённой Аси, был к ней равнодушен; ничего подобного. Он, конечно же, замечал её восторженное внимание, оно было ему приятно и волновало его воображение: в двадцать два года отроду чувственное влечение вспыхивает в молодом мужчине за каждым поворотом, на каждом шагу, как языки пламени над растопкой. Огонь, чистый огонь лежит в основе тесных отношений пары, и Володя не без удовольствия наблюдал за приближением этого опаляющего огня. Он следил и дожидался, когда пламя лизнёт его сильное большое тело, и он вспыхнет, как терновый куст на горе Синай, о котором слышал ребёнком от ребе, в хедере, и запомнил.

Тропку крадущегося огня словно бы песком запорошило, когда отворилась дверь и на пороге лёгким танцующим шагом появилась Вера Фигнер. Мир вздрогнул, прекрасное мгновение остановилось в глазах Володи Хавкина. Такое тоже иногда случается в нашей жизни.

Спору нет, Вера была хороша собой. Яркая брюнетка с резкими, но и нежными чертами смуглого лица, она словно бы сошла в явочную квартиру прямо со страниц Библии. Никто бы не удивился – ну, может, за исключением кудрявого мастерового, – если бы тотчас, непонятно как, в её руках, занесённых на царя, оказалось блюдо с отрезанной головой Иоанна Предтечи или хоть того же Ирода Великого, – неважно, кого.

Для Веры быстренько освободили единственное здесь кресло, и она в него опустилась, сдвинув колени и поместив на них свой ридикюль с вышивкой. Володя не сводил глаз с визитёрши, он не мог избавиться от мысли, спрятан револьвер в сумочке Веры или нет. Ему хотелось, чтобы револьвер обязательно там оказался, и, если вдруг нагрянет полиция, Вера немедленно откроет стрельбу, а он, Володя, прикрывая героическую гостью, будет действовать железным ломиком, припасённым на всякий пожарный случай и уложенным в штанину брюк. Асе Рубинер в этом этюде не отводилось никакой роли, и она, хмуря чистый лоб, грустно глядела перед собою своими оливковыми глазами, готовыми уже повлажнеть. Ревность, как видно, изначально заложена в человеке неизвестно зачем – возможно, что и по оплошности; что-нибудь другое оказалось бы тут более к месту.

Говорят, женщины «кожей чувствуют» обращённые на них взгляды мужчин – острые и зоркие... Чувствую всё это, ничего они не чувствуют – ни кожей, никак. Другой разговор, что женщина в состоянии поймать и проследить мужской взгляд, дерзко упёртый в её грудь, бедра или замшевый треугольник; это – да.

Вера видела вблизи, во втором ряду, крупное открытое лицо молодого человека, обращённое к ней и, казалось, излучавшее направленный луч света в дурно освещённой комнате: занавеси были опущены, створки ставен приотворены лишь на ширину ладони и зафиксированы держателями.

Приятно пьялившийся на неё боевик, крупный молодой человек с плетёной борцовской шеей, мощно втиснутый всеми своими мускулами в студенческую форменку, вовсе не мешал Вере говорить; напротив, он своим лучом не только её высвечивал, но и подогревал, и смертоубийственные наставления красивой гостью текли без сучка и без задоринки, плавно ложась на душу слушателей.

– Итак, как вам известно, – начала Вера, – наша мишень – генерал-майор Стрельников, – сказала Вера. – Киевский военный прокурор. Это его установка: «Лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного». Людоед! Он заслуживает смерти, он будет убит. Нами. Здесь.

Внимательные слушатели перевели дыхание, а потом мёртвая тишина вновь повисла над их головами.

– Подчёркиваю: – продолжала Вера Фигнер, – это я внесла предложение в Исполком поставить Стрельникова на очередь, и моё предложение было утверждено единогласно Исполнительным комитетом «Народной воли». Теперь я несу ответственность за приведение приговора в исполнение.

Слушатели вновь вздохнули: близкое будущее окрасилось в багровые тона и приобрело внятные очертания.

– Вы, товарищи, делаете замечательную работу, – продолжала Вера. – Внешнее наблюдение, организованное вами в лучших традициях сыска, позволило установить передвижения Стрельникова по городу и разработать тактику его устранения. Bravo, товарищи!

Похвала несколько растопила напряжённую атмосферу явочной квартиры. Боевики зашевелились, задвигались на своих стульях и табуретках, составленных впрыток. Стены явки словно бы раздвинулись, открыв перед участниками собрания дивный оперативный простор, пульсирующий опасностью и подвигами. За пределами этого простора, похожего на поле священного боя, простиралось будущее – светлое и непорочное. Парни и барышни, увлечённые революционными словами Веры Фигнер, готовы были прямо из этой секретной комнаты, ничуть не медля, ринуться в битву за правое дело. Даже похожая на камею Ася Рубинер, захваченная общим очистительным порывом, была готова, вопреки собственным намерениям, присоединиться к смелым бунтарям.

Поднявшись со своего места, Володя Хавкин протолкался к Фигнер. Она пришлась ему чуть выше плеча и глядела на него снизу вверх – то ли с симпатией, то ли с любопытством.

– Вера Николаевна, – сказал Володя, – разрешите мне исполнить приговор Исполкома. Я следил за генералом, знаю его повадки. У меня рука не дрогнет!

С симпатией, с симпатией глядела Вера на неуклюжего студента! Какой, видать, силач! У такого в ответственный момент ничего не дрогнет, вот это точно.

– Центр назначил обученных исполнителей, – сказала Вера, – они уже в Одессе. Но я определяю вас метальщиком в группу поддержки.

– Я всё сделаю, как вы скажете, – сказал Володя Хавкин.

И Вера Фигнер не сомневалась: сделает.

Убить человека было бы просто, если б не возникающие на ровном месте непредвиденные сложности; иногда это связано с этической стороной дела, чаще с практическими неувязками.

Два проверенных боевика, командированные Исполкомом в Одессу для убийства Стрельникова, назвались для пользы дела вымышленными именами – дворянином Косогорским и мещанином Степановым – и фигурировали под ними до часа собственной казни. От удачного покушения до повешения исполнителей прошло всего лишь четыре дня; на рассвете 22 марта 1882 года, во дворе одесской тюрьмы, они взошли на висельный эшафот. Такая поспешность имела под собой основание: министр внутренних дел Игнатьев телеграфировал из Петербурга в Одессу: «По доведению об убийстве генерал-майора Стрельникова до Высочайшего сведения, Государь Император повелел, чтобы убийцы были немедленно судимы военным судом и в 24 часа повешены без всяких оговорок». Точка. Этот теракт пинком подтолкнул всё одесское отделение «Народной воли», включая силача Владимира Хавкина и Асю Рубинер, похожую на камею, к самой кромке бездны.

Считанные дни, предшествовавшие покушению на генерала и последовавшей казни боевиков, были наполнены событиями. Слежка за Стрельниковым, в которую Володя был вовлечён и которая сегодня называется «наружка», шла своим успешным ходом. Для отвода глаз и высокой конспирации Володя, играя роль портового грузчика-забулдыги и одетый по этой причине в простонародные портки и посконную рубаху, шатался по Николаевскому бульвару, поблизости от Лондонской гостиницы, где в роскошном номере-люкс стоял его поднадзорный. Стрельников столовался в отличном гостиничном ресторане, регулярно там обедал, а после еды непременно выходил на бульвар, посидеть на лавочке и подышать воздухом. И эта неосмотрительная привычка, о которой «грузчик» не преминул сообщить Вере Николаевне Фигнер, стоила генералу жизни. Вера-револьвер, надо отдать ей должное, не ограничилась важным донесением Хавкина – она сверила его с наблюдениями других своих агентов-наблюдателей, числом четыре, и осталась удовлетворена: Стрельников действительно в своё удовольствие ежедневно переваривал обед на лавочке.

Там, на лавочке, после обеда, Вера Николаевна и решила его убить.

Исполнителем был назначен Косогорский; проницательная Вера разглядела в нём человека, безусловно склонного к самопожертвованию ради высокой революционной идеи. Показательный индивидуальный террор «Народной воли» являлся единственным – Косогорский был в этом уверен – действенным средством, способным разбудить спящие носом народные массы, и исполнитель вполне отдавал себе отчёт в том, что в оплату за живительный теракт его ждёт петля. И это в том случае, если его не подстрелит бдительная охрана, когда он будет приближаться к объекту, или его не разнесёт на части взрыв бомбы, брошенной им в генерала. Но даже и в этом исключительном случае побег с места покушения, от этой скамейки, представлялся маловероятным, а скорее, невероятным вовсе. Боевик, таким образом, выступал здесь не только в роли справедливого убийцы, но и преданного самоубийцы, и был полон решимости довести свою роль до конца. Одна смерть, к тому же своя собственная, в обмен на жизнь целой страны! «Игра стоит свеч!» любил повторять Косогорский при всяком удобном случае. Ну, конечно... Судьба зловредного генерала Стрельникова при таком раскладе, разумеется, не принималась в расчёт.

Допускала подобное развитие событий и Вера-револьвер, и возможная гибель боевика не выбивалась из рамок ответственного мероприятия: здесь важен был результат. Вместе с тем Вера разработала и чёткий план отхода Косогорского, если ему удастся уцелеть. За кустами и деревьями Николаевского бульвара, в полуквартале, на задворках недостроенного дома по Приморской улице, дежурила беговая пролётка, запряжённая резвой лошадейю. На козлах торчал, как кривой пенёк на просеке, прибывший из Москвы боевик Степанов – хилый и туберкулёзный, но вооружённый и способный к бою. Степанов прошёл на практике школу террора, на него можно было положиться – в той, конечно, степени, в какой это вообще допустимо между людьми подполья. Косогорский, по плану, должен был добежать до задворков, вскочить в пролётку – и тут уже всё зависело бы от лошади и Степанова... Стоит ли останавливаться на том, что оба боевика загодя изучили поле своих действий в день покушения и готовы были стрелять, метать бомбы и убегать.

Из-за этой пролётки всё дело чуть было ни сорвалось. По Вериному запросу из Центра из Москвы выслали триста рублей для организации покушения. Обеспечение отхода Косогорского сюда, понятно, входило: купить экипаж и лошадку было необходимо, на своих ногах далеко не убежишь. Выслать-то деньги выслали, но в Одессу они почему-то не дошли: то ли где-то залежались, то ли их украли по дороге... Не подготовить отход исполнителя – всё равно что накинуть ему петлю на шею. И медлить было нельзя: Стрельников собирался возвращаться в Киев, боевики нервничали, ситуация складывалась нездоровая. А денег всё не было, и коляски с лошадейю не было. Вера, рискуя засветиться, подняла все свои старые одесские связи и добыла аж шестьсот рублей. Присмотренная заранее пролётка была куплена, хворый Степанов, напря-

лив кучерскую шляпу, занял своё место на кóзлах. Теперь дело стало лишь за Стрельниковым на его лавочке, на бульваре. Сегодня он уже отобедал, значит – завтра.

Вечером Вера собрала последнюю перед актом сходку. Приглашение получили только избранные: приезжие исполнители Косогорский и Степанов, два боевика группы поддержки – Хавкин и Бирюков, и четверо следопытов, все эти дни не спускавших со Стрельникова глаз. Схема покушения была ещё раз разобрана по косточкам и собрана, все действующие лица, за исключением разве что лошади, знали свою роль до последнего звука. Медлить с исполнением приговора действительно было никак нельзя: катастрофическая случайность могла провалить весь план и привести к аресту одесской группы «Народной воли». Дело к тому и шло: в армейских казармах Стрельников вёл допросы арестованных с начала года двенадцати молодых людей, преимущественно студентов, попавшихся на своей приверженности социалистическим взглядам. Кто знает, что они могут выболтать на следствии, на кого показать! В придачу к этому, жандармы привезли в Одессу предателя-народовольца Меркулова, знавшего в лицо многих партийных активистов. И вот этот Меркулов разгуливал теперь по бульварам, стараясь опознать в прохожих людей своих бывших боевых товарищей, в ряду которых Вера Фигнер занимала не последнее место.

Картина завтрашнего покушения была закончена и подписана, орудия убийства распределены: револьверы – у Косогорского и Степанова, бомбы, завёрнутые, как пласты сала, в белую холстину, у опытного Косогорского, Бирюкова и Хавкина. Сдержала-таки Вера слово террористики: получил Володя Хавкин свою бомбу!

– Сразу после покушения нужно ожидать волну арестов, – подвела черту под деловой встречей Вера-револьвер. – Будут хватать всех без разбора, кто под руку попадёт. К этому нужно быть готовыми.

Хворого Степанова, не раскрыв его настоящего имени, Вера назначила руководить операцией на месте; московский боевик принял ответственное назначение как должное.

Ещё до полуночи Вера Николаевна Фигнер, не без оснований опасаясь завтрашних арестов и никого не предупредив, собрала свой кофр, съехала из гостиницы «Лев и Орёл» и поспешила оставить Одессу. И это было разумное решение боевого командира.

А уже наутро новость об отъезде Фигнер разлетелась по подпольной Одессе, по той её части, какая так или иначе была причастна к «Народной воле» и намеченному покушению. Новость эта никого особенно не взволновала – ну, приехала-уехала, – а боевиков, выведенных на теракт, и вовсе затронула лишь по касательной: они были вовлечены в убийство, напряжены и заняты собой. Пожалуй, из них один только Володя Хавкин был неприятно удивлён: получалось так, что Вера-револьвер, из каких бы то ни было спасительных соображений, бросила поле боя и своих солдат. В глазах Володи это выглядело не лучшим образом и пахло отнюдь не порохом... К такой оценке подмешивалась и горькая досада: сразу после убийства, проявивший героизм Володя, если уцелеет, надеялся самолично дать отчёт Вере и, может быть, заслужить хоть краешек её расположения. И вот теперь ничего из этого не получится.

Причастная к событиям Ася Рубинер – за одно лишь её участие во встрече с Фигнер на тайной явке, эта похожая на камею девушка села бы в острог – сердечно радовалась внезапному отъезду красивой бандитки. Володю при виде террористики словно дурная болезнь поразила, и вот теперь источник опасной инфекции исчез сам собой. Скатертью дорога, товарищ Фигнер! А судьба генерала Стрельникова занимала Асю лишь по мере сохранности Володи Хавкина; она, впрочем, и не догадывалась о его роли в покушении, не говоря уже о завёрнутой в полотняную тряпку бомбе, вручённой ему Верой и спрятанной под карнавальной посконной рубахой портювого грузчика.

Из облицованного мрамором подъезда гостиницы «Лондонская» генерал Стрельников вышел после обеда не один – перед ним из-за высокой парадной двери, отворённой швейца-

ром, показалась молодая женщина, лет двадцати пяти, в маленькой синей шляпке с вуалью, с нарядным, в оборках, зонтиком в руке, излишним в эту прозрачную студёную мартовскую погоду. Хавкин знал, кто эта дама: её, рука об руку, несколько раз засекали с генералом; они прогуливались. Были зафиксированы и вечерние посещения Стрельниковым её квартиры на Торговой. Появление молодой дамы в Лондонской гостинице было отмечено впервые.

Пара неторопливо сошла по широким ступеням и, гуляючи, направилась через дорогу к облюбованной Стрельниковым лавочке на Николаевском бульваре. Спинкой лавочка была обращена к наливающимся весенней силой кустам барбариса, за которыми, чуть отступя, протянулись серебристой шеренгой пирамидальные тополя.

Устроившись на лавочке и без интереса поглядывая на редких прохожих, Стрельников с дамой завели приятный послеобеденный разговор, как натуральные бульварные люди, коих немало сидит на одесских лавочках. Проследив перемещение Стрельникова с его спутницей, Хавкин подошёл поближе и занял позицию метрах в тридцати от генерала. Напарник Бирюков, поглядывая по сторонам, шагал по другой стороне улицы в направлении Лондонской гостиницы. Боковым зрением, не поворачивая головы, Володя Хавкин увидел, как Косогорский, с небольшой сумкой через плечо, двигаясь почти бегом позади тополиного строя, приближается к Стрельникову со спины. Время вдруг убыстрило свой ход, поскакало галопом и, обойдя Косогорского, оставило его позади.

А Косогорский, выйдя из-за деревьев и не приближаясь вплотную к кустам, поднял руку с револьвером и выстрелил, целясь в затылок генерала. Стрельников вздрогнул, но остался сидеть как сидел, а его дама вскрикнула коротко и дико. Володе Хавкину, с его точки, показалось, что Косогорский либо промахнулся, либо его оружие дало осечку. В тот же окаменевший миг он уловил, как московский исполнитель рывком выхватил холщовый свёрток из сумки и, не сходя с места, швырнул бомбу. Володя услышал грохот и увидел чёрный султан дыма и как Косогорский отпрыгнул и побежал к Приморской, где его ждал Степанов, уже выехавший с задворок. Метателя преследовали доброхоты, он обернулся на бегу и крикнул отчаянно: «Я за народ, я за вас!» Это не помогло.

Облако дыма отнесло от лавочки ветерком, и Володя увидел на земле два тела: Стрельникова со свёрнутой на сторону головой и даму с оторванными по колено ногами. Дело было сделано, праздный народ сбивался толпой вокруг почерневшей лавочки. Володя подошёл близко и глядел. Девушка была жива, конвульсии пробежали по телу искалеченной. Хрящи раздробленных колен розовели, мясо выше колен было непристойно задрано с костей до середины бёдер... Мы сделали свою работу, и главное – результат. Вот он валяется, результат со свёрнутой шеей. Мы исправили мир, мир стал лучше на одного человека. А девушка? Ну, девушка не в счёт, девушка в синей шляпке – мусор истории.

Всё было позади, и исправление мира индивидуальным террором – тоже. Индивидуальным и непременно показательным. Вот мы и показали... Отойдя в сторонку, за спину прибывающей толпы, Володя Хавкин спрятал ставшую ненужной бомбу в мусорную урну и пошёл прочь от Лондонской гостиницы. Чувство вины перед влюблённой Асей вдруг на него налетело неведомо откуда; ему захотелось тотчас же рассказать ей о событиях сегодняшнего дня – и избавиться от них навсегда.

Он видел, как Степанов выехал на своей пролётке на улицу и, открыв стрельбу по разгорячённым преследователям Косогорского, погнал ему навстречу. Через минуту или две они оба были остановлены, сбиты на землю уличными любителями погонь и расправ и скручены подоспевшими жандармами.

Вера Фигнер оказалась права: волна арестов накатила сразу после покушения, в тот же день. Брали многих, хватали подряд, как рыбёшку бреднем. Студенты, эти читатели поганой литературы, очутились в первом ряду подозреваемых, и не без причины: Университет был рассадником вольномыслия, оборачивавшегося созданием тайных бунтарских сообществ и кро-

вопролитием. Молодые люди с порчей, принимая пустопорожние мечты за руководство к действию, уходили в подполье и грозили оттуда державной власти. Идя на преступления, бунтари во весь рот распевали непотребные песни. Это было безнравственно, это было заразительно. Это требовало повсеместного преследования и сурового искоренения... Никем не виданная свобода заменяла подпольщикам, у которых молоко ещё не обсохло на губах, вековой порядок, обеспечивающий равновесие земли. И самое неприятное заключалось в том, что, как доносят осведомители, некоторые университетские профессора охотно разделяют заблуждения своих подопечных. Воспитатели молодёжи! Поганой метлой гнать надо таких воспитателей из империи долой!

После убийства Стрельникова и первых арестов Университет гудел, как колокол. Собираясь кучками, студенты вполголоса обсуждали слухи и новости, одна другой горячей. Сочиняли черновик открытого письма в защиту арестованных, предлагали адресатов: министр внутренних дел, шеф жандармов. Царя не называли – никто не верил, что обращение к самодержцу хоть чем-нибудь поможет сидельцам. Подписывать письмо вызывались все подряд, и многие из них и вправду подписали бы.

Местом встреч и дискуссий был в Университете большой зал зоологического музея, главный экспонат которого – скелет кита – занимал почти всё помещение. То было ажурное сооружение, составленное из гигантских рёбер, позвоночника и огромной башки, нависшей высоко над полом. Случайно зашедшему сюда человеку не верилось, что это чудовище, обложенное синим мясом, обитает по соседству с нами в морях и океанах. Белый скелет исполина был приподнят вдоль хребта стальными столбиками и на них держался; посетители музея беспрепятственно, не наклоня головы, расхаживали по межреберью, как по коридору. Кит, таким образом, являлся признанной достопримечательностью Университета. «Где встречаемся? – договариваясь, спрашивали студенты. – У Кита!»

Володя Хавкин был здесь своим человеком: во всём Университете не было студента, увлечённого зоологией более, чем он. Это его увлечение было замечено ординарным профессором зоологии Ильёй Мечниковым, и юный Хавкин сделался его приближённым учеником. Близость к великому учёному, снискавшему мировую славу, не способствовала укреплению Володино положения в Alma Mater: независимого в своих политических суждениях Мечникова в охранном отделении, внимательно приглядывавшим за Университетом, считали опасным смутьяном, а преданные несдержанному профессору ученики проходили в надзорных органах по разряду «неблагонадёжные». Заботы охраны нетрудно было понять...

Назавтра после убийства генерала, Володя Хавкин встретился с Асей здесь, у Кита.

– Бирюкова взяли, – хмуро сообщил Володя, когда они уселись на скамье, в углу зала.

Чучела окружали их, как звери в лесу: волки, шакалы, барсуки и медведица с медвежонком.

– Тебя тоже могут арестовать? – для поддержки и ласки Ася взяла тяжёлую руку Володи в свои почти игрушечные ладошки. – Но за что?

Не отбирая руки, Володя Хавкин пожал плечами. «За что»! От Асиных ладоней шло целебное тепло, оно вливалось в продрогшее Володино тело и грело его душу. Несправедливый мир, чужой и опасный, вдруг без следа исчез в подступившей темноте дикого леса... Какая маленькая Ася, а какая своя.

– За всё, – сказал Володя. – За Мечникова. За коллективное письмо – меня за него выгоняли, помнишь?.. Ну и сегодняшнее. Выше головы.

– Сегодняшнее? – переспросила Ася. – Ты...

– Не я, – сказал Володя. – А мог быть и я. Не в том дело... Ничего не изменилось, ни на каплю – дело в этом! Изувечили девушку, чуть постарше тебя, на всю жизнь – если выживет. Это кому-нибудь в мире поможет?

Ася молчала, уставившись в пол под ногами.

– Ей оторвало ноги, – продолжал Володя, – вот посюда. – Свободной рукой он, как топором, легонько стукнул себя по коленям. – Я видел: мышцы засучены к паху, как рукав.

– Тебе надо бежать, – сказала Ася. – Укрыться где-нибудь... Хочешь, я с тобой?

– Дым отнесло ветром, – словно не слыша, продолжал Володя, – и снова стало всё видно, даже ещё лучше, чем раньше. Я смотрел во все глаза: ничего не изменилось. И не изменится. Даже если убить двадцать человек, двести – к лучшему не завернёт! Это тупик.

– Может, надо что-то другое делать? – спросила Ася. – По-другому? Ты ведь знаешь...

Володя промолчал.

Его арестовали через три дня по делу о покушении на Стрельникова и выпустили через две недели за недостатком улик. Гласное наблюдение, установленное за ним, подтверждало его неблагонадёжность и грозило, при неблагоприятном стечении обстоятельств, ссылкой в Сибирь.

Из Университета, по представлению Охранного отделения, Володя снова был отчислен, но возможность сдавать экзамены экстерном осталась за ним; он ею и воспользовался, просяживая долгие часы за учебниками и списками лекций. Его трудоспособность и объём знаний вызвали уважительное удивление экзаменаторов, среди которых уже не было Мечникова: доведённый до нервного срыва политическими преследованиями и «закручиванием гаек», он ушёл в отставку. Его охотно звали во многие европейские университеты; он имел намерение присоединиться к Луи Пастеру в его институте в Париже. Судьба Хавкина, на которого он, определённо, возлагал надежды, не оставляла его безразличным. Гласное наблюдение делало его ученика невыездным – он не мог в присутствиях оформить необходимые документы и подобру-поздорову покинуть пределы любезного отечества. Однако, бок о бок с официальными, существовали и иные способы пересечения границы, и вольнолюбивые одесситы имели о них довольно-таки предметное представление.

Публичное убийство Стрельникова, вызвавшее гнев царя и резонанс по всей России, не привело к уничтожению одесской поросли «Народной воли», хотя изрядно её и пощипало: около половины активистов оказались за решёткой, и две дюжины сочувствующих были взяты под надзор. Казнили смертью двоих: Косогорского и Степанова. Вера Николаевна Фигнер выскользнула из цепких пальцев охранки.

А оставшиеся на свободе одесские народовольцы затаились, но даже и не думали о самоликвидации или затяжном простое. Явочные квартиры поменяли адреса, связь с московским Центром организации продолжала худо-бедно функционировать. Сочувствующие, прежде всего из числа студентов, прибывали. Виды на будущее, омрачённые было репрессиями, понемногу очищались от полицейской скверны и наливались вишнёвым соком надежды. Одесские борцы за народ готовы были к новым подвигам во имя всеобщей справедливости.

Володя после убийства Стрельникова лишь однажды явился на собрание подпольного кружка – чтобы, без объяснения причин, заявить о своём выходе из организации. Его не осуждали, объясняя такое поспешное решение нервным расстройством или вдруг проявившимся слабоволием. Всяко случается с людьми, даже такими по-бычьему двуязычными, как Хавкин! А рассказывать своим вчерашним боевым товарищам о переломе, в нём хрустнувшим при виде искалеченной молодой спутницы убитого генерала, ему представлялось затеей никчёмной – эта спорная тема касалась его отношений не с боевиками, а с Богом, в которого он не верил, но присутствие которого не брался опровергать.

Переход из подполья на солнечную сторону отдалил Володю от уцелевших народовольцев, зато сблизил с Асей. Похожая на камю девушка перестала появляться на собраниях молодых террористов; следуя за Володей, она с облегчением забыла туда дорогу. Ася по-прежнему желала добра всему миру, желала совершенного успеха борцам за справедливость – но следить за этой борьбой хотела со стороны, выглядывая из-за сильной спины Володи Хавкина. Того же, собственно говоря, она желала всей душой, скучая на собраниях подпольщиков. Вера Фигнер,

с её командирской повадкой, представлялась ей исчадием ада; Ася Рубинер была прямой противоположностью бесповоротной бандитки.

Тем временем угроза ареста поднадзорного Хавкина не только не рассеивалась, но и сгущалась. Володю дважды задерживали «по ошибке», трижды вызывали на допрос. Охранка не собиралась выпускать его из своего поля зрения: угодив туда однажды, человек оставался там навсегда. «Бывших неблагонадёжных не бывает» – эта аксиома действительна во все времена, во всяком случае, пока режим не рухнет в свой час и не развалится на части; после этого поднадзорные, как правило, становятся надзирающими.

Хавкина травили, и эта откровенная травля изматывала его нервы. Скрыться от неё и спрятаться где-нибудь в глухомани, как предлагала Ася, было невыполнимо: нашли бы и посадили за то, что оставил место постоянного проживания, не предупредив жандармское управление. Можно было, получив разрешение, перебраться в затхлую провинцию, в Бердянск, к тишайшим папе и маме, но там опальному студенту подработать репетиторством было куда сложнее, чем в толерантной Одессе, а садиться на родительскую шею Володя не планировал. Оставался открытым, а вернее, полукрытым один ход – за рубеж, в край свободы, уже завоёванной и утвердившейся без помощи одесских народовольцев. Эту тему, из здравых опасений, Володя ни с кем не обсуждал, даже, до поры до времени, с Асей – не потому, что не доверял её скрытности, а по той причине, что, в случае побега за рубеж с морскими контрабандистами, девушка, помахав ему на прощанье мокрым от слёз платком, осталась бы куковать на берегу в полном одиночестве.

Такую жизненную перспективу Володя перед Асей не рисовал, хотя видел её отчётливо: тёмный ночной берег, матрос в фелюке подымает парус, Володя сидит в лодке на своей котомке. Поражённая разлукой в самое сердце, Ася заливается слезами... Была и другая возможность: добраться до Бессарабии, это не так далеко, и там перейти румынскую границу. Шансы на успех равны – пятьдесят на пятьдесят, – но сухопутный вариант опасней: на степной дороге можно, как кур в ощиц, угодить в лапы полиции. Из этих двух вариантов Володя предпочитал первый: парусная фелюка надёжней бессарабской телеги, и уже к утру станет ясно, удалась ли морская попытка, и, если да, – концы в воду. Свобода! И, может быть, равенство и братство! Жандармская родина с её удушающим надзором останется далеко за кормой – может быть, ненадолго, не навсегда. И маленькая Ася на берегу не навсегда же там задержится – можно будет, обрета устойчивую почву под ногами, выписать её к себе в Париж и устроить жизнь по-человечески... Размышляя о бегстве на Запад, он в своих довольно-таки размытых планах оставлял место Асе; Володя был уверен в её безоблачных чувствах к себе, и это немного утешало его угрюмую поднадзорную жизнь. Их отношения складывались легко и доверчиво до определённого предела, до той границы, которую он, в отличие от румынской, не намеревался пересечь. Он привык к Асе, испытывал к ней заботливую жалость и, в ожидании будущего, берёг её для себя. Она мечтала, он знал, выйти за него замуж, но мечта эта была столь же эфемерна, как полёт на Луну: папа-провизор выпил бы яду собственного приготовления, лишь бы не допустить замужества дочери с сидевшим уже два раза за решёткой подпольным бунтарём и шаромыжником. Увлечение Аси лежало чёрным пятном на почтенной семье, и вполне светский Рубинер при каждом удобном случае молил Невидимого о том, чтобы проклятый мазурик как можно скорее провалился в тартарары и навсегда исчез из вида. Регулярно, почти каждый день, особенно ближе к вечеру, провизор живо себе представлял, что вытворяет уголовник с его девочкой, похожей на камею, и от этих воображаемых картин можно было, по свежим следам, наложить на себя руки... Он беспокоился понапрасну: Володя охранял Асину девственность, как Цербер на цепи. Эта роль была ему не в радость, но он считал, что правильно поступает: Париж Парижем, но попадёт ли туда Ася и поженятся ли они на свободе – это ещё был большой вопрос. И, если нет, папа подыщет дочке подходящего по всем статьям жениха, которому Хася Рубинер должна достаться цельной и непочатой.

В конце концов, Володя окончательно утвердился в решении бежать за рубеж. Сложности, связанные с этим решением, его не смущали: не он первый, не он последний. По слухам, витавшим вокруг Университета, ещё несколько студентов, заподозренных в связях с революционным подпольем, собирались бежать из России куда глаза глядят, скорей всего поначалу в Румынию. Володя допускал, что слухи эти – истинная правда, но вычислять потенциальных коллег и устанавливать с ними связи не спешил; он будет действовать один, на свой страх и риск, как волк в степи. Будет рассчитывать на самого себя – так надёжней и меньше риска, что кто-нибудь из товарищей развяжет язык и завалит всё дело. Пока что рано было начинать разведку в порту, толочься там в сомнительных пивных и кухмистерских и заводите знакомства с опасными людьми. Прежде всего, нужно было покончить с учёбой – сдать экстерном выпускные экзамены и получить университетский диплом, довольно высоко котировавшийся в европейских странах. На Западе ученик Мечникова не кирпичи собирался таскать и не на рынке торговать, а вернуться в лабораторию, уйти с головой в свою науку – зоологию простейших видов, этих неприметных невооружённым глазом зверьков, разносивших смертоносные эпидемии и пандемии по всему белу свету. После разрыва с боевым подпольем Володя Хавкин утвердился во мнении, что бороться с «чёрной смертью» куда важней для людей, чем бегать с бомбой за генерал-майором Стрельниковым или даже за самим царём-императором. Ради победы над чумой и холерой стоило рисковать собственной жизнью, а ради убийства генерала и его случайной спутницы – нет, не стоило. Этими своими крамольными соображениями бывший боевик делился с Асей, и она с восторгом их воспринимала – как, впрочем, всё без исключения, что слышала от Володи Хавкина. Да, борьба с чумой! Да, с холерой! Благодарное человечество никогда не забудет! Но тут, главное, самому не прихватить заразу...

Чем ближе дипломные экзамены и день ночного рывка, тем зримей представлял себе Володя Хавкин тайный переход государственной границы, со всеми её заставами, постами и исполненными караульного рвения солдатами. Все эти радости поджидали сухопутного перебежчика, а морская дорога, к немалому облегчению Володи, грозила, в худшем случае, лишь потоплением лодки. Но шаткая морская стихия всё же не была такой скучной и муторной, как чёрствые холмы валашской степи.

Границы, как отточенным ножом, надрезали живую шкуру земли и своими гнусными заборами и рвами делили мир на куски. Володя Хавкин в таком делении не видел, как говорится, «ничего хорошего, кроме плохого». Размежеванье вело к междоусобице, озлоблению и войнам. Границы мешали людям понимать друг друга и препятствовали развитию науки. Царская власть держала границу на замке, а граждан – под замком; ветер западной свободы подтачивал основы абсолютной монархии и мешал управлять империей. Нечего обывателям ехать за границу и набираться там чужой заразы – хватает и своей родимой. Дома надо сидеть, судари и сударушки, так куда полезней для нравственного здоровья! «Держать и не пущать!» – это охранители государства не вчера придумали и не позавчера... Противостоять из подполья, с оружием в руках, отечественному произволу Володя Хавкин передумал, и теперь всю силу и волю своего характера направил в сторону западной границы. Там, за начерченной штыком чертой, расположена свобода, как соседняя квартира в большом доме. Дом большой, квартир много. Там не только свобода, у соседей – там другой мир, и люди в том мире живут по другим законам. Другая жизнь, другое измерение. Как будто не пограничный забор уродует общую землю, а непреодолимая вселенная пролегла между странами. Нет, преодолимая! Хавкин преодолеет её или пойдёт на дно моря, как мешок, набитый камнями мышц.

Человек ко всему привыкает, даже к старости, со всеми её неудобствами и ограничениями. Только к терпеливому ожиданию привыкнуть не в нашей воле, долготерпение нам не прищуще; мы всё на свете хотим получить до срока – здесь и сейчас, и готовы пасть порвать за эту химеру... Но и ожидание, когда-то начавшееся, когда-нибудь и заканчивается, ему приходит конец – иногда со смертью ждущего, а, бывает, что и раньше.

И пришла, в свой черёд, ночь бегства Володи Хавкина.

Незадолго до этого в одном из самых разгульных и грязных портовых кабаков Хавкиным был обнаружен турок, промышлявший исключительно контрабандой. Этот турок и отдалённо не напоминал просоленного муссономы и пассатами морского волка, он был похож на рядового ловца удачи с большой дороги, с кистнём в рукаве. Сходство, однако, не определяло профессиональной пригодности турка, и его объяснения показались Володе вполне убедительными. Заподозрить контрабандиста в принадлежности к охранному отделению Хавкину и в голову не пришло; это было главное. Не без спора столковавшись о цене и назначив день и место отплытия, они разошлись, довольные друг другом.

Как большинство начинаний, и это упёрлось лбом в деньги. Платить Володе предстояло за всё: за фелюку, за турка, за пищевой припас в дорогу, с доплатой за риск и возможную встречу с пограничной охраной, которой надо будет обязательно дать бакшиш; тёртый турок брался уладить и это препятствие. Бесплатно, значит, прилагался только попутный ветер в косой парус лодки... Ясно, что у Володи, перебивавшегося репетиторством, не наскреблось бы гроша за душой. И вот ведь, действительно, никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь: Асин папапровизор готов был аптеку продать, лишь бы раз и навсегда избавиться от Хавкина. Да ему и не пришлось ничего продавать: узнав от дочки, что её ждёт ужасная разлука на берегу, и для устройства Володиного счастливого будущего нужны наличные, папа, не колеблясь, собрал деньги и с лёгким сердцем передал Асе-Хасе. Володя вклад провизора принял не как отступные, а как долг, подлежащий непременно возврату. Главная часть плана была решена.

Последний день перед ночным побегом принадлежал Асе; так она хотела, так и вышло.

Турок, по договору, обязался с темнотой подогнать свою фелюку к заброшенному, полуразвалившемуся лодочному причалу, верстах в пятнадцати от города, на Большом Фонтане, сразу за мысом. Для упрощения задачи турок, подойдя с моря, должен был помогать керосиновым фонарём, подавая сигнал клиенту на берегу. И, в ответ на это, Хавкин без лишних слов, молчком спрыгнул бы с причала в лодку. Эти предосторожности, предложенные турком, были не излишни: по вечернему берегу шатались для отдыха всякие случайные люди, они отыскивали укромные местечки, где можно было приятно провести время, и, не ровен час, привлечь внимание этих непрошенных свидетелей было бы совершенно ни к чему.

Утром того дня Ася пришла в каморку Володи на Базарной возле Сиротского дома. Володя снимал там жильё у старика-бобыля, торговца битыми курами. Куриный старик уходил по торговым делам ни свет ни заря, и жилец в своей полуподвальной комнатёнке пользовался полной свободой проживания – хозяин возвращался домой близко к вечеру, грел и ел зразы, выпивал стакан чесночной водки и заваливался спать.

– Сегодня последний день, – сказала Ася, войдя. – Наш последний день, чтоб быть вместе. Ты и я.

Володя, сидя за колченогим столом, понуро промолчал. Половина его существа находилась уже далеко отсюда, от этой полутёмной, провонявшей несвежей едой и лежалым тряпьем коморки, – в свободной Европе, а вторая половина ещё обреталась здесь, доживала последние часы в одесском полуподвале на Базарной, и дивная девушка, с которой ему едва ли удастся склеить свою судьбу, пришла к нему сюда, чтобы стать частью его жизни, пусть и остающейся в прошлом. Он никому здесь не нужен, кроме этой девушки, да ещё жандармов, охотящихся на него, как гончие на зайца.

Он весь, целиком растерял бы напрочь липкую связь с этой обрыдлой конурой, городом и всей неуклюжей громоздкой империей, если бы не эта девушка, Ася, в белом платье, стоящая, как жена Лота, посреди комнаты, с плетёной корзинкой, полной винных ягод, в руке. На свою жизнь на берегу империи он глядел уже как бы из уходящей в море турецкой фелюки,

вознесённой на высокий гребень волны. И вот вдруг выяснилось, что его удерживает здесь Ася своими кукольными ладошками.

– Наш день, и больше ничей... – повторила Ася, и тогда Володя поднялся и шагнул к ней.

И солнца не стало видно в коморке, и ночь, пахнувшая смоквой, наступила посреди дня. А день стал для них безграничной частицей вечности, которую каждый сущий уважительно воспринимает на свой лад.

Вечернее солнце над Одессой не красней дневного, а грустней: вот-вот оно уйдёт на запад, и померкнет свет и рассеется, а припозднившиеся ходоки, озираясь с опаской, поспешат проскочить безлюдные места на пустырях и в парках и выйти на улицы, освещённые газовыми фонарями. Редко кто из добрых людей любит ночь и на ты с темнотой; ночь внушает страх, это, верно, сохранилось с давних времён, когда в темноте дикие звери и лютые враги могли подкрасться и растерзать. С той былинной поры дикие звери перевелись, а лихие люди остались.

Сумерки застали Володю с Асей на пути к Большому Фонтану. Спешить им было некуда, до появления турка оставалось ещё немало времени. Доехав до ближней к мысу станции, дальше они пошли пешком. Проложенной дороги тут не было, и тропы не было; они шагали по чутким степным травам, никто их не видел и не провожал взглядом, и это было лучшим подарком для них.

– Теперь мы навсегда вместе, что бы ни случилось, – сказала Ася, и захотела услышать подтверждение. – Правда? – Какие только дикие вопросы ни посылает сердце девушки, лишившейся невинности.

– Ну да, – сказал Володя. – Конечно... – Но парусная фелюка была главней, чем правда.

Турок ещё не подогнал свою лодку к заброшенному причалу, и они сели у воды, вглядываясь в тёмное море. Ожидание тоже бывает разное, особенно, если речь идёт о прободах: Ася готова была сидеть здесь, бок о бок с Володей, хоть до скончания века, она была бы счастлива, если б турок затонул по дороге к причалу, а отчаливающий Володя ждал светового сигнала с большим нетерпением: пора было кончать. Но и оставлять здесь маленькую Асю было горько и жалко, и душу Володи Хавкина, устремлённую к свободе, больно рассекал рубец; так устроена наша душа.

Тишина лежала на земле, как праздничная скатерть. Тишины доставало и для счастья, и для беды, и слова были бы излишни в этом необъятном спокойствии мира... То ли из глубины оцепеневшего времени, то ли с моря, рядом, турок, заслоня ладонью язычок пламени, подавал сигнал своим фонарём. Володя поймал одинокую вспышку света и легко поднялся на ноги.

– погоди! – сказала Ася, протягивая ему снятую с шеи золотую цепочку с шестиконечной звёздочкой. – носи её вместо обручального кольца, всегда. Пожалуйста! Ну, иди...

Володя подхватил котомку с земли и шагнул в темноту, к причалу, к лодке. Миг спустя белый парус, чуть различимый под звёздами, качнулся и пополз, пополз... И его не стало видно.

Проводив его, Ася повернулась и зашагала прочь от берега. Под ноги она не глядела, а и глядела б, увидела бы немного: взгляд её исказили слезы, которые она не утирала, а давала им вольно течь по щекам.

Далеко идти не пришлось – на взлобке, на фоне тёмного неба, мутно подсвеченная фонарём с козел, угадывалась одноконная пролётка. От неё, по склону, спускался навстречу Асе, спеша, человек малого роста.

– Мама беспокоится, – сказал этот человек, поравнявшись с Асей. – Вот я и решил тебя встретить. Поехали домой, дочка!

Поднявшись в пролётку, Ася села рядом с отцом и уткнулась мокрым лицом ему в плечо. Кучер отпустил вожжи. Поехали домой, к маме.

Такое иногда случается в добропорядочных еврейских семьях.

II. ЛОЗАННА. ПАРИЖ

Говорят, что с древних времён, когда среди редкого народонаселения ходили кожаные рубли и деревянные полтинники, – с той давней поры сохранилась в нас тяга к дальним странствиям. Зачем, в своё время, наши пращуры брали мешок и отправлялись в путь-дорогу – это ясно: голод не тётя ни в какие времена, ни в свои, ни в чужие, и настойчивое желание добыть что-нибудь съедобное гнало прямоходящего во все стороны света. Но нынче?! Смена мест, отнюдь не связанная с бескормией, наполняет путешественника чувством власти над простором земли и ласкает его любопытство.

Лозанна с первого взгляда заставила Володю, который именовался теперь месье Вальдемар Хавкин, вспомнить Одессу. Именно заставила, потому что вот уже два месяца, проплывшие после побега, Володя почти не вспоминал родной город, как и всё то, что, прости господи, он там оставил. Лозанна бегом спускалась к воде, как ребёнок с горки, и, хоть вода была и не Чёрным морем, а Женевским озером, всё получалось очень даже похоже. Глядя на Лозанну снизу, с берега, Вальдемар угадывал Одессу вполне прохладно; душа его не участвовала в этой игре с прошлым... Другое дело – ему здесь нравилось, в этой Лозанне. И наметившаяся возможность получить работу в Академии, на кафедре биологии, и провести здесь всю зиму, а весной ехать в Париж, в Париж, в Париж, – пришлась ему по душе...

Забрезжившая эта работа приват-доцентом в Академии – старинной модели нарождавшегося Лозаннского университета – не с синего швейцарского неба на него свалилась: Мечников не оставлял вниманием своего ученика, следил за его передвижениями по Европе и помогал чем мог. Рекомендации великого учёного для начинавшего свой путь в научное будущее выпускника Одесского университета стоили куда дороже быстролетящих денег. Вершину этого подъёма Володя видел в лабораторном зале парижского института другого великого микробиолога – Луи Пастера, с которым Мечников состоял в тесном сотрудничестве. Туда и влекли, и тащили Хавкина канаты судьбы, отчасти направляемой верою Мечникова в своего упрямого ученика.

В Лозанне месье Хавкин явился постояльцем; месяцы, проведённые им в Академии, были пересадкой по дороге в Париж. То было доброе время: жалованья с лихвой хватало на крышу над головой и прокорм, а свободные от чтения лекций часы шли на занятия в академической библиотеке и совершенствование в языках – французском, которым он свободно владел, английском и основами немецкого, – выученных в одесские студенческие годы для чтения научной литературы. Библиотечные ежедневные штудии никак не заменяли ему исследовательской лабораторной работы, но разноязычные научные журналы он проглатывал с увлечением, знакомым читателям романов Александра Дюма. Что же до лабораторного микроскопа, тут надо было запастись терпением: в Париже, в тени Пастера и Мечникова, эта мечта может осуществиться. А в Лозанне перед приват-доцентом Вальдемаром Хавкиным такая возможность просто не открывалась: микробиология до почтенной Академии ещё не добралась – её в научном сообществе дружно считали лженаукой, героями которой являются какие-то подозрительные чудачки с их смехотворными беззубыми зверушками, неразличимыми невооружённым глазом.

Первое время новое имя – месье Вальдемар – несколько царапало слух Володи Хавкина. Вроде бы, что тут такого – а что-то такое было, с горьковатым привкусом: сначала Маркус-Вольф, – мама звала Марик, а папа – Вольф, а ребе в хедере вообще называл по-библейски Мордехай. В смешанной школе и дальше, в Университете – Володя. Теперь вот, после перехода через границу – Вальдемар: именно так произносят европейцы русское имя Владимир. В Англии сэръ Вальдемар, в Германии – герр. Во франкоязычных краях – месье. Милое дело! Как будто с лёгкостью, без оглядки переводят тебя с одного языка на другой, точно ты

живое слово, а не живой человек... Хавкин находил в этом для себя некое нарушение верности первоисточнику, и такая самооценка будила неприятное ощущение в душе. После затяжных размышлений и прикидок он пришёл к выводу, что сокращённая форма от официального «Вальдемар» звучит приятней и милей: «Вальди». Да, это немного фамильярно, зато слух не коробит. А Вальдемара придётся сохранить для официального употребления. И пусть так и будет! Довольно перемен...

А вот перемена мест служила приложением на пути к главной цели – лабораторному столу. Леса и горы, весёлые луга с пёстрыми брызгами коров, дородные реки и синие озёра – от этих мелькающих пейзажей трудно было отвести взгляд: красиво! Вроде бы и не до красоты в той ситуации, в какую угодил нелегально перешедший границу с Европой Вальдемар Хавкин, – ни кола ни двора, одна лишь надежда греет вместо основательной изразцовой печи! Но и надежда крепче стоит на ногах, если кругом, куда ни глянь, царит чистая красота природы, а не свалки да помойки уродуют ближний и отдалённый вид.

Об этом, сидя на парковой скамье у озёрной воды, отливавшей на закате розовым молоком, раздумывал Вальдемар Хавкин, приват-доцент. Один на один с думающим на скамейке Вальди, парк был безлюден; обступившие лавочку густо-зелёные деревья с толстыми стволами, обёрнутыми добротной швейцарской корой, доброжелательно наблюдали за сидящим. В тишине, нарушаемой лишь едва слышным плеском бесконечно набегающих волн, Володя и не заметил, как на краешек его скамьи присел ухоженный старичок, взявшийся откуда ни возьмись.

– Хочу надеяться, молодой человек, что я вам не помешал и не нарушил ваш покой, – сказал старичок голосом тихим и гладким. – Вижу, что вы пришли сюда за тем же, что и я. – И представился: – Месье Ипполит.

– Месье Вальдемар, – обернувшись к старичку Ипполиту, сказал Хавкин. – Просто мне здесь нравится. Очень. Вот я и пришёл посидеть.

– Посидеть-поглядеть... – тихонько повторил Ипполит. – Вот и я тоже. Смотрите-ка, какое совпадение приятное!

– Я не местный, – сообщил зачем-то Хавкин. – Я приезжий. – Он мучительно пытался вспомнить, встречал ли он когда-нибудь этого Ипполита или нет. Получалось, что такая встреча никак не могла состояться, но вместе с тем лицо старичка было до мелких деталей знакомо Володе неизвестно откуда, как будто они, например, сидели рядышком в контрабандистской лодке, под опекой турка, хотя, совершенно определённо, никакого Ипполита в фелюке не было и быть не могло. Такое необъяснимое положение заключало в себе тревогу, но то была, как ни странно, приятная тревога, хотя и совершенно необъяснимая. Оставалось, пожалуй, принять её как данность, что Володя и сделал, доверчиво поглядывая на месье Ипполита.

– И я тоже родом не из этих мест, – сказал Ипполит.

– Да? – удивился Хавкин. Он почему-то не сомневался, что ухоженный старичок – местный человек, коренной житель Лозанны.

– Да, – подтвердил месье Ипполит. – Но это совершенно мне не мешает ощущать себя полновесной частицей мира, где бы я ни находился в физическом смысле: здесь, где мне так нравится, или хоть в Китае.

– Замечательный дар... – пробормотал Хавкин. Ему хотелось продолжать разговор с этим старичком, на берегу.

– Я пожилой господин, – продолжал меж тем Ипполит. – По надуманным мерилам, можно сказать, что старик... А старость, как ничто иное в мире, нуждается в красоте, она просит красоты.

– Почему? – спросил Вальдемар Хавкин. – А молодость – разве нет?

– Перед молодым человеком раз за разом меняются, как в калейдоскопе, картинки с изображением дивной красоты, и он каждый раз выбирает вид природы, городской пейзаж или,

скажем, живой портрет барышни. Молодые люди полагают, что запас этих картин неиссякаем. Не так ли?

– Да, так, – подумав, признал Вальди.

– Вот видите, – сказал старичок. – А пожилые господа куда более стабильны и уравновешены в своём выборе. Мы знаем, что вот эта отобранная нами картинка нашего мира, быть может, последняя; её мы возьмём с собой на *тот* берег. А больше ничего не возьмём: ни денег, ни веры с надеждой, ни красивой барышни... Вы когда-нибудь об этом задумывались, а?

– Над этим – нет, – сказал Вальди.

– Тогда над чем? – спросил Ипполит.

– Над будущим... – едва слышно признался Вальдемар Хавкин.

– Вот уж зря! – встрепенулся старичок и легонько шлёпнул себя ладонями по коленям, обтянутым превосходной тканью штучных брюк. – Будущее – это Нечто, быть может, и Бог. Знание будущего придёт в свой черёд, а, может, и не придёт вовсе.

– А над настоящим? – спросил Хавкин.

Месье Ипполит свободно поддерживал разговор, и это приходилось по душе его собеседнику.

– Молодые люди иногда хотят подправить настоящее, – охотно откликнулся старичок, – чтобы склонить будущее к лучшему.

– Это плохо, вы думаете? – осторожно разведал бывший боевик Володя Хавкин.

– Желание светлое, – утвердил Ипполит. – Зато такая правка может сильно подпортить будущее, если после этого оно вообще состоится... Но вернёмся на землю – к тому, что я собираюсь, а вы когда-нибудь соберётесь взять с собой.

– Картину? – уточнил Вальди.

– Ну, возможно, эскиз... – сказал месье Ипполит. – Вот это, в моём представлении, и есть совершенная красота, – он плавно повёл рукой, обводя тихую воду озера, выгнутый дугой берег и подступившую к нему высокую ограду леса. – Глядите же: просто прелесть! Здесь так приятно досматривать картинки и доживать жизнь.

– А вы ещё сюда придёте, месье Ипполит? – спросил Вальди.

Ему хотелось, чтоб старичок пришёл снова, и можно было бы с ним сидеть на скамейке и разговаривать о красоте, которую он собирается взять с собой на *тот* берег.

– Э! – сказал в ответ на это Ипполит. – Вы призываете меня заглянуть в будущее, мой молодой собеседник! Но не в моей власти разглядеть там что-либо – ни приход, ни уход.

Сложно решить, какой язык трудней – русский или немецкий: одному так, другому эдак. Недаром говорят: «Что русскому здорово, то немцу карачун». То же касается и английского, и французского. К концу учебного года, к весне, приват-доцент Вальдемар Хавкин управлялся с французским, на котором он вёл занятия со студентами, не хуже чем с русским. Ну, разве что на самую малость... Не вырос вокруг него языковой барьер в Европе, и это облегчало жизнь. Он был восприимчив к языкам – с тех ещё пор, когда в трёхлетнем возрасте ходил учиться в хедер и за усердие получал от учителя сахарное печенье в форме еврейских букв. Так он учил библейский иврит, а идиш слышал от рожденья, и этот простонародный язык помог ему освоиться с немецким, когда возникла нужда. Евреи вообще склонны к языкам, а одесские евреи в особенности.

В весенний Париж, светившийся солнцем, как лимонная долька, Вальдемар Хавкин явился полным надежд, переполнявших душу и переливавшихся всеми семью цветами радуги. Надежда подобна парусу, досыта налитому ветром; кто знает, куда скользнёт лодка, в какую сторону пути... И кто бы предостерег Вальди от того, что надежда, случается, выплёскивается за серебряный ободок души россыпью огненных брызг и увечит, а то и смерть несёт мечтателю. Кто бы знал!

Великий город лежал, вольно раскинув лапы. Вот он, перед глазами! Предстояло его если и не завоевать, то хотя бы приручить. Хавкин отдавал себе отчёт в том, что таких, как он, завоевателей – тьмы и тьмы, и каждый рвётся к своей цели подобно камню, выпущенному из пращи. Считанные камни поразят цель, считанные счастливицы добьются своего... Крутые тропы, без указателей и отчётливых следов первопроходцев, вели к сердцу Парижа – но с крутизной подъёма надежда Вальди на успех лишь крепла, как одинокий голос под сводами собора Нотр-Дам: там, вверху, светил, подобно путеводному маяку, великий Мечников. Он, один-единственный во всём свете, знал достоверно, что привело Хавкина в этот вожаемый город, он доверял устремлениям своего ученика и разделял его надежды на успех и победу.

Но Мечникова не оказалось в Париже, он уехал на юг на полтора месяца.

Битый час бродил Вальди вокруг роскошного трёхэтажного особняка в Пятнадцатом округе, разглядывал высокие окна и охраняемый парадный подъезд, вход в который был открыт только для посвящённых. Хавкин к этим посвящённым пока ещё не относился, во владения Луи Пастера пробраться было трудней, чем из Одессы в Румынию, – но зато он мог вдосталь мечтать о том, как будет допущен в Институт, за эти сверкающие стёклами окна, в одну из лабораторий. А где, интересно знать, расположен кабинет Пастера? Может, наверху, в одной из мансард? А лаборатория? Неужели и он, Володя Хавкин, скоро займёт своё место здесь – в центре мировой микробиологии? Кружа вокруг Института, он примерялся к чреву этого знаменитого дома: лабораторные залы, библиотека, тихие коридоры и лестницы, ведущие с этажа на этаж.

До возвращения Мечникова с юга всё это оставалось фата-морганой. Да и сам громадный город не стал ещё собранием бульваров и домов, сохраняя в зорких глазах Хавкина чарующие очертания миража. Громадный город, в котором из миллионов одушевлённых и бездушных предметов теплей всего оказался особняк Пастеровского института, куда вход беглому одеситу был закрыт. Несравнимо теплей, чем фанерная временка торговли Люсиль с её расхлябанным топчаном.

Эта Люсиль торговала на Центральном рынке искусственными цветами, склеенными из птичьих перьев. Кому-то, как видно, они приходились по вкусу: сбрызнутая дешёвым одеколоном продукция Люсиль пользовалась спросом, хотя очереди за нею не выстраивались.

Кормившаяся цветочно-перьевым делом, Люсиль обладала вздорным характером. В мужчинах она более всего ценила напор и жеребьячью неутомимость, и беспечную жизнь в фанерной камере с крепышом Вальдемаром не променяла бы на скучное существование в собственном каменном доме с каким-нибудь худосочным сорбонским очкариком.

Вздорная Люсиль и в сахарном полночном сне представить себе не могла, что её крепыш большую часть своей сознательной жизни провёл за книгами или уставившись в стеклянный глазок железной увеличительной трубки. Зарезать кого-нибудь или зашибить насмерть при такой комплектации – это вполне, этого нельзя было исключить. Но переводить время на чтение книг – вот уж нет! Такое даже в голове не укладывалось...

Каждый божий день, ни свет ни заря, Вальди поднимался с топчана и, вежливо шлёпнув Люсиль по лошадиному крупу, шагал в мясные ряды – таскать неподъёмные для среднего человека говяжьи туши, опушённые белым наплывом жира. Тяжеленные французские говяды – вчерашние быки и коровы – следовало взгромоздить на спину и, согнувшись в пояс для сохранения ножной устойчивости, нести поклажу от телеги до лавки. Такие незаурядные грузчики являлись рыночной достопримечательностью, и любопытные парижане, жертвуя утренним отдыхом, приезжали спозаранку полюбоваться силачами.

Заработок был неплох – во всяком случае, Люсиль так считала. Часть оплаты Вальди получал мясом, и это тоже очень нравилось Люсиль: цветы из перьев, при всей любви к прекрасному, никак нельзя было отправить в кастрюлю. Мясной же продукт, хоть жареный, хоть варёный, ни в ком не вызывал сомнений, особенно в трёх давних приятелях Вальдемара, воз-

никших как-то раз прямиком из его туманного прошлого в фанерной времянке цветочной Люсиль.

– Это мои старые товарищи, – объяснил появление тройки Вальди. – Их надо подкормить, потому что им здесь не везёт.

Люсиль тотчас взялась за жарку мяса, а Вальди с товарищами коротали время готовки, попивая разливное рыночное вино. Говорили они по-русски, как когда-то на сходках «Народной воли».

От опасности сесть в острог, трое приятелей ушли через сухопутную румынскую границу. Охранное отделение эта разлука никак не опечалила: баба с возу – кобыле легче. Да и остроги по всей империи, от Бессарабии до Сахалина, не скучали от безлюдья: не успел либеральный монарх Александр Второй, царствие ему небесное, отменить крепостное право, как микроб свободы расплодился непредсказуемо и вверг подданных Короны в непотребный соблазн западного разлива. И вот уже, усилиями специалистов, многие из доморощенных бесенят очутились за решёткой или были посажены на короткий поводок. Многие – да не все... А жаль.

После убийства Стрельникова на бульварной лавочке эти трое спаслись и уцелели. Чуда тут нечего искать: прочёсывая частым жандармским гребнем сообщество одесских свободолюбцев, патриотические ловцы в голубых мундирах действовали с усердием, граничившим со страстью, – но им не хватало опыта. Нет причин для сомнений: опыт придёт с расширением практических действий, он ещё достигнет своего апогея лет через сорок, в ином политическом обрамлении.

Спасаясь от посадки, трое беглецов и не помышляли о продолжении университетской учёбы на Западе; не для того бежали, рискуя жизнью. А бежали для того, чтобы продолжать из-за границы борьбу с постылым самодержавием, колотить во все колокола и готовить почву для народной революции. Сажать на Западе за нелюбовь к русскому царю не сажали, но и входить в положение беглецов и поддерживать их в борьбе за справедливость не спешили. Свободную Европу русские дела вообще не занимали, словно речь шла не о близких соседях, а о каких-то дикарях с кокосовых островов. Тройка, возглавляемая бывшим студентом-физиком Андреем Костюченко, готова была к совершению дерзких подвигов, но ни одна живая душа не проявляла интерес к этому настрою, и, с течением времени, героический порыв чужаков, плотно обложенных мещанскими обывателями, хирел и выветривался. Долго ли, коротко тянулся такой распад, трудно было определить: время утратило для них очертания, и часы, дни и недели свалились в комок.

Устоявшаяся жизнь бывшего подпольного соратника в фанерной времянке, с цветочницей, не вызвала осуждения беглых боевиков. Андрей Костюченко, обивший все возможные парижские пороги и ни на шаг не продвинувшийся в поисках поля для революционной борьбы, видел в Володе Хавкине единственную в обозримом пространстве родственную душу. А то, что бомбист занялся теперь перетаскиванием мясных туш – ну, что ж поделать: такова жизнь, как уверяют эти французы!

Любой толковый подпольщик знает неопровержимо, что для успеха общего дела необходимо иметь про запас незасвеченную тихую квартиру, где можно залечь на дно, отогреться и подготовиться к дальнейшим действиям. Базарная времянка цветочницы и была, строго говоря, такой тайной квартиркой. И то, что Люсиль ни бельмеса не понимает по-русски, а Володя, хотя и отошёл от революционной практики, в душе остался борцом, – это была удача. Неудачей было другое: у Андрея Костюченко и его группы ещё ни разу не сложилась ситуация, после которой необходимо было бы «залечь на дно».

Пока мясо шипело на сковороде, Вальдемар и его товарищи вели беседу на политические темы. Разговор носил общий характер: русские гости к французской политике относились кое-как, спустя рукава, и новости, дошедшие до них из случайных газет, были с бородой. Вальди газет вообще не читал, считая это занятие пустой тратой времени и денег, а свободные от пере-

таскивания мясных туш часы проводил в библиотеке, с головой уходя в медицинские научные журналы. Таким образом, рассуждения мужчин вились вокруг жалоб на чёрствость французов, не желающих ничем поступиться ради устройства в России справедливого общества, и горькой отечественной ситуации, которая, после убийства известного лица на одесском бульваре, ничуть не улучшилась, а лишь усугубилась в общем плане. И к этому, сидя в Париже, нельзя было ничего ни прибавить, ни убавить.

– Главное, чтоб наша борьба разгоралась! – выкрикнул Андрей Костюченко с такой яростной убеждённой в голосе, что Люсиль вздрогнула у плиты всем своим большим зыбким телом и метнула в сурового гостя неприязненный взгляд. А Вальди, вроде бы совершенно некстати, вдруг улыбнулся широкой, во всё лицо, совершенно несвойственной ему улыбкой.

Глядя на неуместное веселье хозяина, Андрей слегка опешил: тут не смеяться, тут плакать впору.

– Просто ты сказал «борьба», – объяснил Вальди свою лучезарную улыбку, – и я сразу вспомнил: мне завтра в цирк идти, оформляться.

– Какой цирк? – угрюмо поинтересовался Андрей.

– Да шапито, – сказал Хавкин. – Они тут приехали, на Рыбной площадке стоят. Звери, клоуны. Лилипуты. Я с ними договорился на завтра.

– А о чём с ними можно договориться? – с оттенком раздражения спросил Андрей.

Циркачи, включая диких зверей, не подходили для революционной работы; от них не было никакого проку.

– Борцом я туда нанялся, – внёс полную ясность Вальди.

– С кем бороться-то? – спросил Андрей Костюченко.

– С кем придётся, – пожал плечами Вальди. – Из публики. Кто пожелает.

– А деньги? – спросил Андрей уже с изрядным интересом. – Не от нечего делать ты же туда идёшь.

– За один вечер я там заработаю, как за неделю на рынке, – сказал Хавкин. – Утром туши буду носить, а вечером бороться. Вот и считайте!

Все трое гостей последовали совету хозяина и погрузились в расчёты; получалось, что борцовский заработок покрывал с лихвой вложенные усилия.

– А если наваляют? – отвлёкся от арифметики бывший боевик, щуплый паренёк по имени Валера.

– Ну, наваляют, так наваляют, – беспечно допустил Вальди. – Но это ещё как сказать...

– Говорят, если деревянным маслом всё тело натереть, – проявил осведомлённость второй боевик, по имени Семён Дюкин, – то победа обеспечена.

– Ну, это, Сёма, уже чистое жульничество! – возмутился Хавкин.

– В общем, да, – согласился Дюкин. – Но можно сказать, что это военная хитрость. Для победы.

– Вот ты и натирайся, – сказал Андрей. – Все деньги на это масло уйдут.

Тут поспело мясо, и интересные разговоры свернулись сами собой. Над столом повисла приятная тишина сосредоточенного утоления голода.

Подходя к серому шатру шапито на Рыбной площадке, Хавкин раздумывал над тем, как пройдёт для него этот первый цирковой вечер. За победу над противником ему полагался двойной заработок, но и проигрыш не лишал его гонорара – правда, без премиальных. По замыслу организаторов, оба варианта были приемлемы: поражение манежного борца разожгло бы желание подвыпившей публики схватиться с поверженным силачом, в то время как его победа немного насторожила бы и отпугнула потенциальных соискателей славы из зрительских рядов.

Так или иначе, это дело выглядело перспективно. Ещё вчера, за столом, Вальди пообещал Андрею Костюченко отдать половину своих цирковых доходов на нужды революционной борьбы, куда, естественно, входило и пропитание активистов. Вторую половину Хавкин пла-

нировал откладывать «про чёрный день» – будущее в фанерной времянке Люсиль выглядело расплывчато, а работа в Пастеровском институте оставалась покамест не более чем сердечной мечтой. Предложение Хавкина было принято единогласно, и с подъёмом. В стороне от демократического решения осталась лишь цветочница: она и не представляла, о чём идёт речь, а посвящать её в суть дела никто не собирался.

У входа в шапито толклась публика: вход был тесный, а народу явилось немало. Вальди прошёл в цирк с чёрного хода, мимо мешков с опилками, накрытых брезентом клеток и кукольного барака – там жили лилипуты.

В последний – и единственный – раз на цирковом представлении, с мамой и с папой, Володя Хавкин был лет двадцать тому назад на Молдаванке, в Одессе. Случай выдался экстраординарный: неимущая семья не часто позволяла себе культурные походы. Володя запомнил запах влажных опилок, клоуна с красным носом и бородатую женщину, прибывшую в Одессу прямо из Германии и выставленную на показ. Теперь вместо бородатой немки французскую публику должен был завлекать русский силач, явившийся сюда напрямиком из Одессы. И это было забавно.

Ему дали борцовское трико с чужого плеча и назначили выход сразу за лилипутами – для контраста. Конферансье в мятой шляпе и полосатых брюках объявил: «Знаменитый русский силач Тимофей Годунов вызывает на честный поединок любого из вас, любезная публика! Ну, смелей же! Победителя ждёт слава и успех у девушек!» Разглядывая мускулистого русского, публика робела. Тогда конферансье подал знак заранее подготовленному для растопки цирковому сторожу, посаженному ради такого случая в третий ряд. Сторож прыжком выскочил на манеж, сбросил рубаху и кинулся на Хавкина как лев. Предупреждённый о таком трюке Вальди был настороже: он поймал не вполне трезвого сторожа в крепкие объятия, повозил его по манежу, а потом бережно уложил на лопатки. Публика осталась довольна, она свистела и улюлюкала. Вслед за подготовленным сторожем попытать удачи вызвался добровольный господин из рядов, крепкого сложения. По договорённости с конферансье Вальди не спешил с ним расправляться – народ за свои деньги должен был немного попереживать и получить удовольствие; некоторые азартные зрители, желая заработать, взялись заключать пари. Повозившись с настырным оппонентом несколько минут, Вальди в конце концов прижал его спиной к полу. Третьим вышел на борьбу средних лет толстяк, килограммов на сто двадцать живого веса. Публика затаила дыхание, боля за своего. Двигать толстяка по манежу было затруднительно. Наконец, Вальди исхитрился закинуть противника за спину, как говяжью тушу, и мощным рывком перебросить его через голову. Толстяк рухнул в опилки, не сломав, к счастью, костей. На том поединок закончился победой русского силача Тимофея.

Принимая шальные деньги с премиальными от хозяина шапито, Володя Хавкин испытывал воодушевление и нечто вроде благодарности судьбе: такая вольготная жизнь могла продолжаться по крайней мере до тех пор, пока цирковой шатёр стоит на Рыбной площадке. Да и потом, переберись он на другую какую-нибудь людную парижскую площадку, на другой рынок или хоть на Елисейские поля, возможность борцовского заработка отнюдь не исчезала. Уже через неделю после начала взаимовыгодного сотрудничества хозяин шапито предложил Вальди бросить рынок, присоединиться к труппе на постоянной основе и отправиться с нею в полугодовое турне по Франции. Но Хавкин дорожил своей работой в мясном ряду, спальным местом во времянке цветочницы Люсиль и, прежде всего, близостью к институту Пастера, под крышей которого денно и ночью сверкала ему голубая звезда надежды. Поэтому он без раздумья отверг щедрое предложение хозяина, как и его заманчивое обещание сделать из русского силача Тимофея Годунова звезду манежа: Хавкин не планировал становиться профессиональным артистом цирка.

Хоть Россия расположена довольно-таки далеко от Парижа, русская пословица «Человек предполагает, а Бог располагает» действительно повсеместно; возможно, эта истина и у других

народов находит своё отображение. Предположения Вальди о грядущих цирковых доходах и мирном проживании во времянке, с цветочницей, не оправдались: спустя два месяца после появления Хавкина на манеже он получил долгожданное сообщение: в институте Пастера для ученика Мечникова открылась вакансия помощника библиотекаря.

Люсиль эта новость ничуть не окрылила. Разгрузка туш плюс цирковой приварок – вот это было занятием для настоящего мужчины, каким заграничный Вальдемар, без вариантов, выглядел в глазах цветочницы. И тут, как гром с ясного неба, эти книги, эта грошовая служба то ли в больнице для нищих, то ли в госпитале для зверей! Восторженные объяснения Хавкина в пользу борьбы с заразными болезнями и облегчения участи всех людей без исключения не находили отклика в душе безутешной Люсиль: заразы она не боялась, а облегчение участи всем без разбора людям считала грубой ошибкой.

– Мы не должны думать лишь о себе, – увещевал Вальди цветочницу. – Человек на то и человек, чтоб стремиться сделать мир лучше для всех! Таская туши на рынке, этого не добьёшься. Только наука, поверь ты мне, Люсиль, приведёт нас к успеху.

Но Люсиль и не думала верить пустым уговорам, у неё была иная точка зрения на предмет; устройство мира приходилось ей вполне по вкусу, а намерение Вальдемара бросить работу ради чтения книг за грошовое жалованье приводило в исступление. Когда расходившаяся цветочница не бушевала и не скандалила, она ворчала себе под нос и грызла своего русского, и это житейское занятие более всего изводило Хавкина. Лёжа на дощатом топчане, под лоскутным одеялом, он иногда с благодарностью вспоминал Асю, оставшуюся на одесском берегу.

Долгожданную работу Хавкин принял как дар небес, вопреки тревожным сомнениям нашедший-таки адресата. Конечно, помощник библиотекаря – это не экспериментатор над окуляром микроскопа, с чашкой Петри на лабораторном столе. Но, главное, двери института Пастера теперь распахнулись перед ним, как золотые ворота Сезама.

Библиотека примыкала к микробиологической лаборатории, и в этом Хавкин, начисто лишённый суеверия, разглядел, однако, добрый знак. Судьба благоволила к нему, это тоже было ясно: вначале бескровный побег из России, потом такая славная остановка в Лозанне, затем Париж – цветочная Люсиль, мясные туши и цирковые аплодисменты. И, наконец, новая реальность наступила: институт, где сразу после закрытия библиотеки, по вечерам и ночью, хоть до самого рассвета, можно работать в соседней с библиотекой лаборатории – микроскоп, пробирки, реторты и колбы, шпатели и пипетки. Всё, что душа пожелает, и о чём можно было только мечтать!

Мечников знал о ночных бдениях своего ученика и одобрял их. Знал не только понаслышке – он эти занятия, строго говоря, и направил, получив карт-бланш из рук самого Луи Пастера. Будущий нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников возлагал немалые надежды на Володю Хавкина, и вот теперь пришло время испытаний.

Испытания продолжались из ночи в ночь, и жизнелюбивая цветочница в своей времянке не испытывала восторга по этому поводу. Её русский совсем свихнулся с этими книгами и какими-то чашками-стекляшками, в которых жили, по его словам, неразличимые глазом вредоносные зверушки. Особенно противно становилось Люсиль, когда её сердечный друг заводил разговор о мышах, которым он зачем-то делал уколы. Это уже выбивалось за все рамки: мышам – уколы! С тем же успехом можно было делать змее клизму, а кошке ставить банки. Но на едкие замечания Люсиль обезумевший Вальди обращал столько же внимания, сколько на полёт мухи под потолком... События принимали всё более разогретый характер, разлука становилась неотвратимой.

Конец наступил из-за тех же мышей. Явившись во времянку среди ночи, Вальдемар решил немного развеселить Люсиль, глядевшую на него из-под лоскутного одеяла с большой неприязнью и разинувшую было рот, чтобы начать скандал.

– Как бы я хотел быть котом! – приветливо сказал Вальди. От такого заявления цветочница рот захлопнула и язык проглотила. – Тогда б я ловил мышей, – продолжал Хавкин, как ни в чём не бывало, – и мне не пришлось бы покупать их в магазине.

Тут уж крыть было нечем. Поднявшись с топчана, Люсиль, пыхтя, шагнула к двери, пихнула её и мраморной своей рукою указала сожителю на чёрный ночной проём. Хавкин попятился, переступил порог и, испытывая летучее чувство лёгкости, очутился на воле.

О бытовых переменах в жизни Вальди знали считанные люди: он, разумеется, сам с цветочницей Люсиль да бывший народоволец Андрей Костюченко с двойкой своих боевитых в недавнем прошлом товарищей. Андрей, душевный человек, сочувствовал оставшемуся без крыши над головой Хавкину, но видел в случившемся и светлую сторону: цветочница с её фанерной будкой была Володе не ровней, а так... Утрата мясного источника вызывала в Андреее объяснимое сожаление, но не особенно напрягала: Бог даст день – Бог даст пищу, хотя, как известно, никакого бога не существует в природе. Да и деньги на революционную подготовку, отчислявшиеся от борцовских заработков, были куда как не лишними... Но товарищеская связь трёх бесприютных одесситов с пустившим в Париже корни Володей Хавкиным, в какой бы роли он ни выступал – грузчика мясных туш, циркового борца или сотрудника Пастеровского института – проявлялась прежде всего: Вальди Хавкин на порядок возвышался над кучкой политэмигрантов, и ни у кого из них не возникало сомнений в его необыкновенном будущем. Это, а ещё какая-то неуловимая сильная энергия, которой он смутно светился, привлекала к нему людей.

А об утраченном крове долго горевать не пришлось: были пущены в ход отложенные «про чёрный день» цирковые доходы и арендована, в десяти минутах ходьбы от института, мансарда с видом на иссиня-пепельные крыши Парижа, изначально служившая чуланом для хранения дров. Засыпая на несколько коротких часов в своей мансарде, Вальди перелистывал в памяти знакомые картины; но не было там ни мясных туш, ни циркового манежа, ни цветочницы Люсиль. Да и Ася, похожая на камею, почти не появлялась. Зато весь воображаемый вид был сплошь заполнен разложенными на библиотечных столах открытыми медицинскими книжками, сверкающей лабораторной посудой и золотистым агар-агаром. И из глубины этого великолепия возникал и бесшумно шёл по ковру коридора хозяин всего – великий Луи Пастер.

Два или три раза Хавкину посчастливилось вживе, из-за библиотечной стойки увидеть его в этом полутёмном коридоре, и вот теперь, засыпая, Вальди отличал его от раза к разу всё более отчётливо. И, как по команде, вмиг проявлялась из живых сумерек красивая Вера Фигнер с ридикюлем, оттягивавшим руку из-за спрятанного в нём револьвера. Они шли рядом, Фигнер и Пастер, и Хавкин молча глядел на них поверх своей стойки. И уверенность в том, что не смертельная охота Фигнер на царя, а борьба Пастера со смертью исправит мир и сделает его добрей, не оставляла Хавкина. В этой паре идущих по коридору Пастер был лучше.

III. АЗИАТСКАЯ СМЕРТЬ

Смерть – вот, пожалуй, единственное, что волнует нас ещё больше, чем жизнь: к жизни мы привыкаем, а свыкнуться с мыслью о смерти никак у нас не получается. И то: с самого рождения мы открываем путь к смерти, и, положив руку на сердце, признаём с унынием, что ни о какой привычке тут нет и речи. В этом признании все одинаковы: религиозные фанатики и поклоняющиеся безбожию атеисты, христиане и басурмане, блондины, брюнеты и шатены, генералы с кабаньей шеей и худосочные пацифисты – все задаются безответным вопросом: а что там, за рубежом жизни? За рекой, в ром или зелёным полем, по которому, по заслуживающему доверия свидетельству, гуляют женщины и лошади? Приятные открытия нам уготованы, в этом почти никто не сомневается. Во всяком случае, хуже не будет, а будет лучше: едва ли кто-нибудь предполагает очутиться в котле с кипящим маслом или на раскалённой сковородке... Но и поспешать с переселением в лучший мир никто не торопится и события не подгоняет – а не то люди пустились бы в повальные самоубийства, и мир давно бы уже обезлюдел. Говорят, что вольготно себя чувствуют на нашем свете лишь особо продвинутые обитатели сумасшедших домов – они думают, что уже умерли и находятся в безветренных закордонных краях.

Обсуждение темы жизни и смерти не то чтобы считалось зазорным, но и прилива энтузиазма в народной гуще не вызывало: на то живут на свете писатели и философы, вот они пускай и занимаются этими высокими материями... Всё дело в том, каким пунктиром обвести эту самую народную гущу.

Ни Хавкин, ни бывший боевик «Народной воли» Андрей Костюченко никак не вписывались в рамки этой гущи. Разговор, который они вели воскресным вечером, в мансарде с видом на крыши Парижа, хоть и отдавал горечью, но, к удовольствию собеседников, тек свободно и широко. Они сидели за крохотным столиком, друг против друга; никто им не мешал.

– На русском бунте рано ставить крест, – сказал Андрей. – В Европе в каждом большом городе найдёшь политэмигрантов из России – только копни... Но никто не копает, никому до нас дела нет. Нужен Центр, нужна организация. И, как всегда, всё упирается в деньги. Ну, почти всё.

– Деньги найдутся, как только появится организованное движение, – пожал плечами Хавкин. – Ты говоришь – бунт! А если русский бунт выйдет из-под контроля и всё разнесёт в клочья?

– Попробуй построить новое, – упрямо нагнув голову, сказал Андрей, – не разрушив старое до основания. Попробуй! Особенно у нас в России.

– Разрушение – это, знаешь, не исправлять ошибки, не поломки чинить, – возразил Хавкин. – Разрушение – это смерть! Сея смерть, мир не улучшишь. От холеры, от чумы мрут миллионы людей, это-то я знаю. Разве в мире от этого становится легче дышать?

– Я и не говорю, что смерть, – подумав, сказал Андрей, – инструмент для установления справедливости. Но нельзя же отрицать смерть как явление жизни!

– Нельзя, – согласился Хавкин.

– Ну вот, – сказал Андрей. – Мы все, от рожденья, идём по пути к смерти: ни назад повернуть, ни сойти с дороги. Так?

– Так, – снова согласился Хавкин. – Но один из нас успевает что-то сделать в жизни, а другой живёт по привычке, как лошадь: только ноги переставляет.

– Ну, мы-то, может, и успели... – сказал Андрей.

– На бульваре? На лавочке? – спросил Хавкин.

Андрей кивнул молча.

– Да, – сказал Хавкин, – забыть это не получится... И вот теперь мы идём, идём по дороге, с остановками, с пересадками...

- В конце дороги – тупик, – сказал Андрей. – Точка.
- Лозанна – пересадка, Люсиль – остановка, – продолжал Хавкин. – Тупик, ты говоришь?
- Тупик, – повторил Андрей.
- А что в тупике? – спросил Хавкин требовательно.
- Ничего там нет, – ответил Андрей.
- Там калитка, – сказал Хавкин. – Дошатая белая калитка на двух петлях. – Он поднялся из-за стола. – Давай спустимся, пройдемся немного, а то ноги затекли сидеть.
- Они шли по бульвару Монпарнас, в окружении людей, деревьев и домов. Никто не проявлял к ним ни малейшего интереса, и это приятное ощущение безнадзорности в толпе было сродни свободе. Подступающая темнота ночи не несла в себе ни настороженности, ни угрозы.
- Так или иначе, – продолжал Хавкин начатый в мансарде разговор, – Россия осталась по ту сторону... Ты хочешь оставаться здесь, в другом мире, русскими эмигрантом?
- А я и есть русский эмигрант, – сказал Андрей.
- В этом другом мире, – сказал Хавкин, – который скроен по другим правилам и...
- ...и даже не думает устраивать революцию, – досказал Андрей за Хавкина. – Они тут сто лет назад уже устроили революцию, с них хватит.
- Именно, – согласился Хавкин. – А России всё это только ещё предстоит: бунт, разрушение, царю голову отрубят. И всё это, похоже, произойдет без нас с тобой: нарыв зреет изнутри, а не извне.
- Значит, мы так и будем тут сидеть, – спросил Андрей, – как рыбаки на другом берегу?
- Рыба и с этого берега ловится, – сказал Хавкин. – Ты, что, не знаешь? Но местная рыба по-французски говорит, а не по-русски... Французы Бастилию один раз уже взяли. Штурмом, к стати сказать. Теперь они другие опыты ставят.
- Зачем мы им? – мрачно спросил Андрей. – С нашими идеями?
- Не мы им, а они нам, – сказал Хавкин. – Мы сможем мир лечить и здесь, если приспособимся с открытой душой. Но эмигранты не приспособятся, они из другого теста.
- Ты прав, в общем, – сказал Андрей, помолчав. – Конечно, из другого... А ты знаешь, что можно было бы такого хорошего для них сделать? Для местных?
- Пока нет ещё, – сказал Хавкин. – Но, может, узнаю скоро.
- Андрей поверил Володе Хавкину. Он вообще верил ему издавна, ещё с одесских времён.

Вальди действительно ещё не знал обстоятельно, что такого можно сделать, но общее представление имел. Первые намётки он получил в Одессе, зачитывая до дыр книги по истории массовых смертоносных эпидемий и медицинские справочники. Он искал хоть намёк, хоть ссылку на глубинную причину мировых пандемий – и не находил ничего: вопрос жизни и смерти оставался без ответа, как скрежет зубовой в пустыне. Светляком на горизонте для него оставалось утверждение Мечникова о том, что микроскопические бактерии вызывают самые чудовищные инфекционные заболевания на свете, такие как холера и чума. Володя Хавкин, студент, слышал это на семинарских занятиях от своего прославленного руководителя, и слова Мечникова, запав ему в душу, определили его путь в микробиологию. В то время, в 80-е годы позапрошлого века, над ней смеялись в открытую, а её адептов называли авантюристами и мошенниками. Само слово «микроб» воспринималось как издевательство над классической наукой, а то и хуже – как брань. Почти двухсотлетней давности изобретение голландца Левенгука – исследовательская увеличительная трубка с линзами, этот ко времени Пастера усовершенствованный предшественник нынешнего микроскопа – никого ни в чём не убеждало: шевеление мельчайших тварей под окуляром прибора, на предметном столике, вызывало недоумение и раздражение учёных мужей. На то, что не вписывалось в их представления о расплозании смертельных болезней, большинство из них предпочитали плотно зажмуривать глаза... Но в науке, как и в культуре, именно профессиональные конфликты способствуют

поступательному движению, и отважные одиночки-авангардисты выводят общество на новый уровень.

От начала времён неотвратимый мор человечества символизировала «чёрная смерть» – чума. Тому были веские причины: в обозримом прошлом, на закате Средневековья чума, нахлынувшая из Китая, за четыре года убила треть Европы – тридцать четыре миллиона человек. Недаром шекспировская реплика «Чума на оба ваши дома!» осталась зарубкой в памяти человечества.

Одно не исключает другого: помимо чумы, повсеместно злодействовали и другие занесённые в Европу болезни, не менее губительные. Так что Меркуцио, друг влюблённого Ромео, с тем же успехом мог призвать на головы Капулетти и Монтекки проказу, и строптивые аристократы мучительно сгнили бы заживо и развалились на куски... Но он предпочёл чуму – как видно, она была свежей в коллективной памяти европейцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.